

Paris
gallimard
1987



Перевод с французского
Ольги Акимовой

Санкт-Петербург
symposium
2004

УДК 82/89
ББК 84. 4ФР
Ч75

Перевод с французского
Ольги Акимовой

Художественное оформление
и макет **Андрея Бондаренко**

ISBN 5-89091-184-4

Содержание



НА КРАЮ БЫТИЯ

Когда Христос спустился в ад, ветхозаветные праведники — Авель, Енох, Ной — не признали его учения и не отозвались на его призыв. Они приняли его за посланца Искусителя, со стороны которого боялись подвоха. Лишь Каин и ему подобные примкнули — или же сделали вид, что примкнули, — к учению Христа, и последовали за ним, и вместе с ним вышли из ада... Так учил Маркион.

«Злодеям счастье» — кто лучше, чем этот ересиарх сумел подтвердить эту старую мысль, возражающую против идеи существования некоего милосердного или, по крайней мере, достойного уважения Творца, кто кроме Маркиона смог с такой остротой прозреть ее неопровержимость?

Палеонтолог-любитель, я несколько месяцев размышлял над скелетом. Результат — всего несколько страниц... По правде говоря, предмет не располагал к многословию.

Применение одинакового подхода к поэту и мыслителю свидетельствует, как мне кажется, о недостатке вкуса. Есть области, которых философы касаться не должны.

Нарушить стройность стиха, так же как кто-то порой нарушает стройность философской системы, — это преступление, даже святотатство.

Что любопытно: поэты необычайно радуются, когда не понимают того, что о них болтают. Тарабарщина льстит им и дает иллюзию повышения в чине. Эта слабость низводит поэтов до уровня их же собственных толкователей.

Небытие для буддизма (а по правде сказать, и для всего Востока в целом) не содержит в себе того довольно мрачного

значения, какое придаем ему мы. Оно совпадает с последним опытом света или, если угодно, с состоянием вечного сияющего отсутствия, лучистой пустоты: это бытие, возобладавшее над всеми своими атрибутами, или скорее в высшей степени позитивное несуществование, которое излучает нематериальное, беспочвенное блаженство, не имеющее никакой опоры в каком бы то ни было из миров.

Я настолько исполнен одиночества, что любая встреча для меня — Голгофа.

Индийская философия стремится к освобождению; греческая — за исключением Пиррона, Эпикура и еще нескольких оригиналов — повергает в разочарование: она ищет лишь... истину.

Нирвана сравнивалась с зеркалом, которое перестало что-либо отражать. То есть с зеркалом вечно чистым, вечно бесполезным.

После того как Христос назвал Сатану «Князем мира сего», святой Павел, желая его перещеголять, попал прямо в точку, назвав его «богом мира сего».

Как мы можем разыгрывать из себя обиженных, когда такие авторитеты откровенно называют имя того, кто нами правит?

Человек свободен во всем и, однако зависит от того, что в нем подспудно таится. Со стороны кажется, будто он волен в своих поступках, но в потемках его души «воля» — это звук, лишенный смысла.

Чтобы обезоружить завистников, нам следовало бы выходить на улицу на костылях. Только наш беспомощный вид может пробудить в наших друзьях и недругах хоть какую-то человечность.

В каждую из эпох люди совершенно справедливо полагают, что именно на

их глазах исчезают последние следы Земного Рая.

Опять о Христе. Как сказано в одном из гностических повествований, из ненависти к *фатуму* он якобы поднялся на небо и нарушил расположение сфер, чтобы люди перестали обращаться к звездам.

И что в таком кавардаке сталось с моей бедной звездой?

Кант дожил до глубокой старости и только тогда, заметив темные стороны бытия, объявил о «несостоятельности всякой рациональной теодицеи».

... Другие, более удачливые, поняли это еще до того, как начали философствовать.

Можно подумать, материя из ревности к жизни старается за ней подглядеть, чтобы отыскать ее слабые места и покарать за смелые начинания и вероломство. Потому что жизнь является таковой лишь в силу собственной неверности по отношению к материи.

Я существую отдельно от всех своих чувств. Я не могу понять, как это получается. Я даже не могу понять, *кто* их испытывает. Впрочем, кто этот я в начале каждого из трех предложений?

Только что пролистал одну биографию. Мысль о том, что все упомянутые в ней персонажи существуют уже только на страницах этой книги, показалась мне настолько невыносимой, что я лег, дабы не упасть в обморок.

По какому такому праву вы бросаете мне в лицо мои же истины? Вы присваиваете себе свободу, которую я отвергаю. Признаю: все ваши доводы справедливы. Но я не давал вам разрешения со мной откровенничать... (После каждого взрыва ярости меня охватывает чувство стыда, затем неизменно является гордыня: «Ну и что, так и надо отвечать», ее сменяет еще горший стыд.)

«Я трус, муки счастья мне невыносимы».

Чтобы глубоко проникнуть в суть человека, по-настоящему *узнать* его, мне достаточно посмотреть, как он отреагирует на это признание Китса. Если он не понимает сразу же, продолжать бесполезно.

Ужасание— как жаль, что это слово ушло вместе с великими проповедниками!

Поскольку человек — животное болезненное, любые его высказывания или поступки равнозначны *симптомам*.

«Меня удивляет, что такой замечательный человек, как он, мог умереть», — написал я вдове одного философа. Только отправив письмо, я обнаружил, насколько оно нелепо. Посылая второе, я рисковал бы сморозить очередную глупость. Там, где дело касается соболезнований, все выходящее за рамки штампа граничит с неприличием или ненормальностью.

Семидесятилетняя леди Монтегю уверяла, что перестала смотреться в зеркало одиннадцать лет назад.

Эксцентричность? Возможно. Но только для тех, кому неведома мука мученическая от ежедневной встречи с собственной физиономией.

Я могу говорить только о том, что испытываю; однако в настоящий момент я не испытываю ничего. Все кажется мне ничтожным, все для меня остановилось. Я стараюсь не извлекать из этого никаких выводов, пробуждающих во мне горечь или тщеславие. «Как много жизней мы прожили, — читаем мы в „Сокровищнице высшей мудрости", — и сколько раз мы напрасно рождались, напрасно умирали!»

Чем дольше живет человек, тем меньше у него возможностей переменить веру.

Лучший способ избавиться от врага — везде говорить о нем только хоро-

шее. Ему это перескажут, и он уже не сможет вам вредить: вы сломили его дух... Он будет по-прежнему воевать против вас, но без особого рвения и упорства, потому что подсознательно он уже перестал вас ненавидеть. Он побежден, даже не зная о собственном поражении.

Как-то Клодель безапелляционно изрек: «Я за всех Юпитеров и против всех Прометеев».

Что толку в том, чтобы утратить всяческие иллюзии относительно бунтарства: подобный вздор пробуждает дремлющего в вас террориста.

Мы не питаем ненависти к тем, кому сами нанесли оскорбление; напротив, мы согласны признать за ними все мыслимые достоинства. Подобное великодушие, к сожалению, никогда не встречается у тех, кому это оскорбление нанесено.

Я не слишком высоко ставлю тех, кто обходится без первородного греха. Что до меня, то я прибегаю к нему в любых

обстоятельствах и не представляю, как бы я без него жил, не впадая в бесконечное уныние.

Кандинский утверждает, что *желтый* — это цвет жизни.

... Теперь понятно, почему этот цвет так неприятен для глаз.

Когда необходимо принять какое-либо важное решение, опаснее всего — просить совета у другого, ибо за исключением нескольких чудаков нет никого, кто искренне желал бы нам добра.

По мнению мадам де Сталь, выдумывание новых слов — «верный признак идейного бесплодия». В наше время это замечание представляется еще более справедливым, чем оно было в начале прошлого века. Уже в 1649 году Вожла заявлял: «Создавать новые слова не позволительно никому, даже королю».

Пускай же философы — даже в большей степени, чем писатели — задумаются

над этим запретом, прежде чем начать философствовать!

За одну бессонную ночь узнаешь больше, чем за год сна. Точно так же можно сказать, что побои гораздо поучительнее, нежели послеполуденный отдых.

Мизантропия Свифта отчасти была вызвана ушными болями, которыми он страдал.

Если я и проявляю такой интерес к физическим недугам других, то лишь затем, чтобы сразу же обнаружить между нами точки соприкосновения. Иногда у меня создается впечатление, будто я разделял со своими кумирами все их страдания.

Сегодня утром услышав, как какой-то астроном рассказывает о *мириадах солнц,* я не стал приводить себя в порядок: к чему теперь мыться?

Скука — это, несомненно, одна из форм тревоги, но тревоги, очищенной от

страха. В самом деле, когда скучно, то не страшишься ничего кроме самой скуки.

Тот, кто пережил какое-либо испытание, смотрит свысока на тех, кому не довелось его пережить. Несносное самомнение со стороны подопытных...

На выставке «Париж—Москва». Испытал потрясение от портрета Ремизова в молодости, написанного Ильей Репиным. Когда я познакомился с Ремизовым, ему было восемьдесят шесть: он жил в полупустой квартире, которую консьержка хотела отобрать для своей дочери и строила козни, чтобы выжить его оттуда под тем предлогом, что эта квартира — рассадник заразы, крысиное гнездо. Вот до чего дошел тот, кого Пастернак считал величайшим русским стилистом. Контраст между жалким, истрепанным, всеми покинутым стариком и образом блистательного молодого человека поразил меня настолько, что у меня пропало всякое желание смотреть оставшуюся часть выставки.

Древние с недоверием относились к успеху не только потому, что боялись ревности богов, но и потому, что опасались того внутреннего дисбаланса, которым всегда сопровождается любой успех. Поняв эту опасность, как высоко они поднялись над нами!

Невозможно проводить бессонные ночи и при этом заниматься какой-то профессией: если бы родители не *финансировали* моей бессонницы, я бы в молодости несомненно покончил с собой.

В 1849 году Сент-Бёв писал, что молодежь отвращается от романтического зла, дабы, по примеру сенсимонистов, мечтать о «безграничной победе индустрии».

Эта мечта, полностью осуществившись, бросает тень на все наши начинания и на само понятие *надежды.*

Все эти дети, которых я не захотел иметь, — если бы только они знали, каким счастьем мне обязаны!

Пока дантист терзал мои челюсти, я думал о том, что Время — единственное, о чем стоит размышлять, что именно благодаря ему я сижу в этом роковом кресле и что все трещит по швам, включая остатки моих зубов.

Если я всегда относился к Фрейду с недоверием, то виноват в этом мой отец: он рассказывал свои сны моей матери и тем самым каждый раз портил мне утро.

Поскольку вкус к злым поступкам является врожденным, нет нужды прилагать усилия для его приобретения. Ребенок сразу же проявляет свои дурные наклонности, но как ловко, умело и напористо он это делает!

Педагогической науке, достойной своего имени, следовало бы ввести

такую меру наказания, как отсидку в смирительной рубашке. Для всеобщего блага стоило бы, пожалуй, не ограничиваясь детством, распространить эту меру на людей любого возраста.

Горе писателю, который не культивирует в самом себе манию величия, а спокойно наблюдает за ее угасанием. Вскоре он заметит, что нельзя стать *нормальным* человеком безнаказанно.

Я был охвачен тревогой, от которой никак не мог отделаться. Вдруг звонок в дверь. Открываю. Входит немолодая дама, которую я вообще-то не ждал. Три часа подряд она донимала меня такими глупостями, что моя тревога переплавилась в гнев. Я был спасен.

Тирания ломает или закаляет личность, свобода ее размягчает и превращает в марионетку. У человека больше шансов спастись благодаря аду, нежели раю.

В одной из стран Восточной Европы живут две подруги-актрисы. Одна уезжает на Запад и становится там богатой и знаменитой, другая остается дома, прозябая в бедности и безвестности. Полвека спустя бедная актриса путешествует и навещает свою удачливую приятельницу. «Раньше она была на голову выше меня, а теперь ее скрючило и парализовало». Далее следуют еще кое-какие подробности, а затем, как бы в заключение, она мне говорит: «Я не боюсь смерти, я боюсь умереть при жизни».

Нет лучшего способа, чтобы скрыть свой запоздалый реванш, чем прибегнуть к философским рассуждениям.

Вы говорите — обрывки, мимолетные мысли. Разве можно назвать их *мимолетными,* если речь идет о мыслях навязчивых, то есть о мыслях, сущность которых в том и состоит, что они никак не хотят *улетать?*

Только что написал необычайно сдержанное, вежливое письмо человеку,

который этого ни капельки не заслуживает. Прежде чем отправить, я добавил в него несколько намеков, пронизанных туманной желчью. Наконец, в тот самый момент, когда я опускал письмо в почтовый ящик, меня охватила ярость, а вместе с ней презрение к собственному благородному порыву и жалкому приступу *изысканной утонченности*.

Кладбище Пикпюс. Молодой человек с увядающей дамой. Смотритель объясняет, что на этом кладбище хоронят исключительно потомков людей, казненных на гильотине. Дама его перебивает:

— Мы и есть потомки!

С каким видом это было произнесено! В конце концов, может быть, она сказала правду. Но этот вызывающий тон тут же заставил меня стать на сторону палача.

Раскрыв в книжном магазине «Проповеди» Мастера Экхарта, я прочел, что страдание невыносимо для того, кто страдает за себя, но легко тому, кто страдает за Бога, потому что это ярмо несет на

себе Бог, даже если на нем лежит тяжесть страданий всех людей.

Этот отрывок попался мне на глаза не случайно, ведь он так подходит тому, кто никогда не сможет переложить свою ношу на плечи другого.

Согласно учению Каббалы, Бог допускает, чтобы его сияние стало менее ярким, так что ангелы и люди смогли бы его переносить. Стало быть, Творение равнозначно ослаблению божественного света и шагу в сторону тьмы, на который пошел Создатель. Достоинство гипотезы о сознательном затмении Господа состоит в том, что она открывает нам наш собственный мрак, который является причиной нашей невосприимчивости к определенному типу света.

Наверное, идеал состоит в возможности повторяться, как... Бах.

Величественная, неземная скупость стиля: как будто я вступил в иную жизнь на другой планете, никогда не знав-

шей слова, в мире, не покоренном языком и не способном породить его.

Человек живет не в стране, он живет внутри языка. Родина — это язык и ничего больше.

Прочитав в одной книге психоаналитического толка, что в молодости Аристотель явно испытывал ревность к Филиппу, отцу своего будущего ученика Александра, я не могу удержаться от мысли, что философская система, которая мнит себя методом терапии и внутри которой рождаются столь фантастические предположения, может вызывать лишь подозрение, поскольку она *выдумывает* тайны только ради того, чтобы иметь удовольствие выдумывать способы их объяснения и лечения.

В любом, кто хоть в чем-то преуспел, есть нечто от шарлатана.

Стоит один раз посетить больницу, и через пять минут человек становится буддистом, если раньше им не был, или же снова становится буддистом, если когда-то перестал им быть.

Парменид. Ни разу не видел человека, кого бы он вдохновлял, и с трудом представляю себя внутри его сферы, где нет ни единой щелочки, ни единого *места* для меня.

В купе поезда моя соседка напротив, неподобающе уродливая дама, храпела с открытым ртом — безобразное зрелище агонии. Что делать? Как снести подобный спектакль? Мне на помощь пришел Сталин. В молодости, проходя сквозь строй солдат тюремной охраны, которые избивали его прикладами, он с головой окунулся в чтение книги и таким образом отвлек свое внимание от наносимых ударов. Вдохновленный этим примером, я тоже погрузился в книгу, с крайним усердием

вчитываясь в каждое слово, пока чудовище не перестало агонизировать.

На днях я сказал одному другу, что, даже утратив веру в писательство, я не пожелал бы от него отказаться; что работа — заблуждение, которому можно найти оправдание; и что после того, как я накропал страницу или хотя бы одну фразу, мне всегда хочется свистеть.

Религии, равно как и идеологии, унаследовавшие от них все пороки, сводятся к крестовым походам против юмора.

Философы, которых я знал, все без исключения были людьми импульсивными.

Похоже, что печать западной цивилизации отметила даже тех, кто должен был остаться невредимым.

Быть как Бог, а не как боги — такова цель истинных мистиков, ставящих

перед собой слишком высокие цели, чтобы снизойти до политеизма.

Меня пригласили участвовать в одном зарубежном коллоквиуме, так как, по-видимому, им не хватает моих сомнений.

Дежурный скептик в угасающем мире.

В чем моя сущность — этого я не узнаю никогда. В чем сущность Бога — по правде говоря, об этом нам известно не больше; ибо какой смысл сочетание «внутренняя сущность» имеет для нас, не находящих опоры ни внутри себя, ни извне?

Я злоупотребляю словом «Бог», я использую его часто — слишком часто. Я пользуюсь им всякий раз, когда подхожу к какой-то грани и мне необходимо слово, обозначающее то, что находится *за ней.* Бог мне нравится больше, чем Непостижимое.

Некая благочестивая книга утверждает, что неспособность принимать реше-

ния является признаком того, что человек «не освещен божественным сиянием».

Другими словами, нерешительность — то есть полнейшая *объективность* — это якобы путь к погибели.

У всех тех, чьи интересы совпадают с моими, я неизменно обнаруживаю некий изъян...

Пролистал книгу о старости только потому, что меня привлекла фотография ее автора. Эта смесь гримасы и мольбы, этот застывший на лице оскал — какая реклама, какая гарантия успеха!

«Этот мир был создан не по воле Жизни», — сказано в «Гинзе», гностическом тексте одной мандеистской секты в Месопотамии.

Стоит вспоминать об этом всякий раз, когда нет лучшего аргумента, чтобы побороть в себе разочарование.

Я встретился с ней снова — по прошествии стольких лет, по прошествии целой жизни.

«Почему ты плачешь?» — спросил я ее сразу же.

«Я не плачу», — ответила она.

Она действительно не плакала, она улыбалась мне, но радость уже не могла отразиться на ее лице, черты которого были искажены возрастом и на котором с тем же успехом можно было прочесть: «Любой, кто не умер в молодости, рано или поздно будет в этом раскаиваться».

Тот, кто переживает самого себя, губит свою... биографию. **В** конечном счете, только разбитые судьбы можно признать удавшимися.

Беспокоить друзей следовало бы не иначе как ради собственных похорон. Да и то навряд ли...

Скука, имеющая дурную репутацию легкомысленной особы, тем не менее

заставляет нас заглянуть в ту бездну, из которой рождается потребность в молитве.

«Бог не сотворил ничего, что было бы ему более ненавистно, чем этот мир; и с самого дня творения он ни разу на него не взглянул — так сильна его ненависть».

Не знаю, кем он был — тот мусульманский мистик, написавший это; я никогда не узнаю имени этого друга.

Неоспоримое преимущество умирающих: возможность произносить банальности, не компрометируя себя.

Удалившись в деревню после смерти своей дочери Туллии, охваченный скорбью Цицерон писал самому себе утешительные письма. Как жаль, что они не найдены, но еще больше жаль, что этот метод терапии не вошел в обиход! На самом деле, если бы он стал применяться, религии давно уже потерпели бы крах.

Чего у нас не отнимешь, так это тех часов, когда мы были совершенно ничем не заняты... Именно они нас формируют, придают нам индивидуальность, делают нас *непохожими* друг на друга.

Один датский психоаналитик, страдавший упорными мигренями и безрезультатно лечившийся у своего собрата, пришел к Фрейду, который вылечил его за несколько месяцев. Так утверждает Фрейд, и в это легко поверить. Ученик, как бы он ни был болен, не может не почувствовать себя лучше, пребывая в ежедневном контакте со своим Учителем. Нет лучшего лечения, чем видеть, как человек, которого вы почитаете больше всех на свете, так долго занимается вашими болячками! Не много отыщется недугов, которые бы не отступили перед таким вниманием к себе. Не стоит забывать, что Учитель обладал всеми чертами основателя секты, скрывающегося под маской ученого. Если он добивался выздоровления пациентов, то не столько благодаря своему методу, сколько благодаря своей *вере*.

«Старость — самое неожиданное из всего, что происходит с человеком», — пишет Троцкий за несколько лет до смерти. Если бы в молодости он обладал этим точным, глубоким интуитивным знанием истины... какой бы из него получился никудышный революционер!

Великие деяния могут вершиться лишь в те времена, когда самоирония еще не лютует.

Такова была его участь — реализовывать себя лишь наполовину. Все в нем было *обрывочным:* и его образ жизни, и его образ мыслей. Человек, состоящий из обрывков, сам становится обрывком.

Уничтожая время, сон уничтожает смерть. Покойники пользуются им, чтобы нам досаждать. Прошлой ночью мне явился отец. Он был таким, каким я его знал всегда, и тем не менее я на миг заколебался. А вдруг это не он? Мы обнялись по

румынскому обычаю, но — как всегда бывало с ним — без сердечных излияний, без горячности и бурных проявлений чувств, свойственных экспансивному народу. Именно благодаря этому сдержанному, холодному поцелую я понял, что это действительно мой отец. Я проснулся с мыслью о том, что человек воскресает лишь как непрошеный гость, как нарушитель сна и что это докучливое бессмертие — единственное, которое существует.

Пунктуальность — разновидность «мании скрупулезности». Ради того, чтобы не опоздать, я мог бы пойти на преступление.

Выше досократиков мы порой бываем склонны ставить тех ересиархов, чьи книги были искажены или уничтожены и от которых осталось лишь несколько обрывков фраз, как нельзя более загадочных.

Отчего, совершив добрый поступок, мы стремимся встать под чьи-то знамена — неважно какие?

Наши благородные порывы таят в себе некую опасность: они заставляют нас терять голову. Но возможно, что мы великодушны как раз потому, что уже потеряли голову, и само наше великодушие — лишь разновидность опьянения.

Каждый раз, когда будущее представляется мне постижимым, мне кажется, что на меня снизошла Благодать.

Если бы было возможно определить производственный дефект, следы которого столь явным образом несет на себе мир!

Я всегда удивляюсь, до какой степени живыми, нормальными, неуязвимыми выглядят низменные чувства. Испытывая их, человек ощущает бодрость, причастность к обществу, равенство с себе подобными.

Если человек так легко забывает о том, что он проклят, то это потому, что он был проклят всегда.

Литературная критика противна здравому смыслу: читать нужно не для того, чтобы понять другого, а чтобы понять самого себя.

Тот, кто видит себя *таким, каков он есть,* поднимается выше того, кто воскрешает мертвых. Это высказывание принадлежит одному святому. Незнание самого себя — закон для каждого, и нельзя нарушить его без риска. Истина в том, что ни у кого нет смелости нарушить этот закон, и этим объясняется преувеличение в словах святого.

Проще подражать Юпитеру, чем Лао-цзы.

Стремление быть современным есть признак колеблющегося ума, который не преследует никаких внутренних целей и не способен к одержимости — этому *бесконечному* тупику.

Видный церковный деятель шутил по поводу первородного греха:

«Этот грех кормит вас. Не будь его, вы умерли бы с голоду, потому что ваш священнический сан утратил бы всякий смысл. Если человек не был падшим изначально, тогда зачем явился Христос? Чтобы искупить чью вину и за что?»

В ответ на мои возражения он лишь снисходительно улыбнулся.

Религия прекращает существовать, когда одни только ее противники стараются сохранить ее целостность.

Немцы не замечают, что валить в одну кучу Паскаля и Хайдеггера смешно. Между ними примерно такая же разница, как между Schicksal и Beruf — судьбой и профессией.

Внезапное молчание посреди разговора вдруг напоминает нам о главном: оно показывает нам, какую цену мы вынуждены платить за изобретение слова.

Не иметь больше с людьми ничего общего, кроме того, что я — человек!

Как низко должно пасть чувство, чтобы превратиться в идею.

Вера в Бога избавляет вас от необходимости верить во что-либо другое — что является неоценимым преимуществом. Я всегда завидовал тем, кто в Него верит, хотя поверить в то, что я — Бог, мне кажется легче, чем верить в Бога.

Слово разъятое перестает что-либо значить, обращается в ничто. Как тело, которое после вскрытия — уже меньше, чем труп.

Любое желание вызывает во мне противоположное желание, а значит, что бы я ни делал, для меня важно лишь то, чего я не сделал.

НА КРАЮ ЬЫТИЯ

Sarvam anityam, все преходяще (Будда).

Фраза, которую следовало бы повторять про себя ежечасно, рискуя — восхитительно рискуя — от этого околеть.

Не знаю, какая дьявольская жажда мешает мне расторгнуть договор с жизнью.

Бессонница и переход на другой язык. Два испытания: одно от тебя не зависит, другое — осознанное. Ты один на один с ночью и со словами.

Здоровые люди лишены реальности. У них есть все кроме *бытия* — которое дается только сомнительным здоровьем.

Из всех древних, наверное, именно Эпикур лучше всего сумел выразить свое презрение к толпе. Лишний повод его прославить. И что за нелепая мысль — так

высоко превозносить шута, подобного Диогену! Я бы, несомненно, был завсегдатаем в Саду Эпикура, а вовсе не на агоре и, уж конечно, не в бочке...

(Тем не менее сам Эпикур наверняка разочаровал бы меня не однажды. Разве не он назвал Феогнида из Мегар *глупцом* за то, что тот заявил: лучше не родиться вовсе или, если уж родился, как можно раньше переступить порог Гадеса?)

«Если бы меня попросили классифицировать человеческие несчастья, — пишет молодой Токвиль, — я расставил бы их в таком порядке: болезнь, смерть, сомнение».

Сомнение как бедствие — подобное мнение я ни за что не мог бы поддержать, но понимаю его так, как будто высказал его сам... в другой жизни.

«Конец человечества наступит тогда, когда все станут такими, как я», — заявил я однажды в каком-то порыве, оценить который надлежит не мне.

Выхожу из дома и тут же восклицаю: «Сколько совершенства в этой пародии на Ад!»

«Это боги должны приходить ко мне, а не я к ним», — ответил Плотин своему ученику Амелию, который собирался отвести его на какую-то религиозную церемонию.

У кого в христианском мире найдешь подобную степень гордыни?

Надо было давать ему волю, позволяя говорить о чем угодно, и пытаться вычленить искрометные слова, вырывавшиеся у него. Это было бессмысленное словоизвержение, сопровождаемое жестикуляцией помешавшегося святого, желающего привлечь к себе внимание. Чтобы встать на один уровень с ним, приходилось разглагольствовать, как и он, изрекая напыщенные и бессвязные фразы. Загробный разговор одержимых страстями призраков.

Эмиль **ЧОРАН**

В церкви Сен-Северин, слушая «Искусство фуги» в органном исполнении, я неустанно повторял себе: «Вот то, что *ниспровергает* все мои проклятия».



РАЗЛОМЫ

РАЗЛОМЫ

Когда выйдешь из круга ошибок и заблуждений, внутри которого совершаются поступки, занять какую-либо позицию становится почти невозможно. Для всего — для утверждения и даже для отрицания — нужна хоть капля глупости.

Чтобы разглядеть главное, не нужно заниматься никаким делом. Просто лежать целый день и вздыхать...

Все, отчего я прихожу в разлад с миром, органически неотделимо от меня. Из опыта я вынес очень немногое. Меня всегда опережало разочарование.

Есть неоспоримое удовольствие в сознании того, что все наши поступки в действительности ни на чем не основаны: все едино — что совершать поступок, что не совершать. И все же в наших ежедневных деяниях мы вступаем в сделку с Пустотой, то есть попеременно — а иногда и одновременно — полагаем этот мир то реальным, то нереальным. Мы смешиваем здесь истины высокие и истины низкие, и, к стыду мыслителя, уже сама эта мешанина — выигрыш жизни.

Мы несем на себе следы, оставленные не яростными болями, а глухими, постоянными, терпимыми — теми, что являются частью нашей обыденной жизни, подтачивая нас так же добросовестно, как нас точит Время.

Невозможно больше четверти часа без раздражения наблюдать отчаяние другого человека.

Только в молодости есть желание дружбы и способность к ней. Пожилому же человеку совершенно ясно, что больше всего он боится, как бы друзья его не пережили.

Можно вообразить и предвидеть все, кроме глубины своего падения.

Единственное, что до сих пор привязывает меня к вещам, — это некая жажда, унаследованная от предков, чье любопытство к жизни было доведено ими до бесстыдства.

Как, должно быть, ненавидел себя человек, живший во мраке и зловонии пещер! Понятно, почему художники, влачившие жалкое существование в этих пещерах, не пожелали увековечить облик себе подобных и предпочли изображать животных.

«Отринув святость...» Подумать только, как я мог произнести такую чудовищную глупость! У меня же должно быть какое-то оправдание, и я упорно надеюсь его найти.

Вне музыки все ложь — и одиночество, и даже экстаз. Музыка — это как раз *наилучшее сочетание* того и другого.

Насколько с возрастом все становится проще! В библиотеке заказываю четыре книги: две, набранные слишком мелким шрифтом, откладываю не глядя; третья—слишком... серьезная — кажется мне нечитаемой. Волей-неволей беру четвертую...

Можно гордиться тем, что сделано, однако гораздо больше следовало бы гордиться тем, чего не сделано. Эту гордость еще надо изобрести.

Проведя вечер в его обществе, вы чувствовали себя совершенно разбитым, потому что необходимость себя контролировать, избегать малейшего намека, способного его оскорбить (а его оскорбляло всё), в конце концов доводила вас до полного изнеможения, оставляя в душе недовольство и им, и самим собой. Вы ненавидели себя за то, что ради щепетильности, граничащей с унижением, соглашались с его мнением; вы презирали себя за то, что не высказали все начистоту, вместо того чтобы упражняться в столь изнуряющей деликатности.

Ни о собаке, ни о крысе никогда не говорят, что они *смертны*. По какому праву человек присвоил себе эту привилегию? В конце концов, смерть не является его открытием, и считать себя единственным ее носителем — признак неумеренного самодовольства.

По мере того, как слабеет память, похвалы, которые нам когда-то расточали,

стираются, а проклятия остаются. И это справедливо: похвалы редко бывали заслуженными, тогда как проклятия бросают некоторый свет на то, чего раньше мы о себе не знали.

Если бы я родился буддистом, я бы им и остался; родившись же христианином, я перестал им быть уже в ранней юности, когда — не в пример мне нынешнему — я выразился бы гораздо хлестче, чем Гёте, если бы знал в то время о его богохульном высказывании, которое проскальзывает как раз в год его смерти в одном из писем к Цельтеру: «Крест — самый уродливый образ из всех, когда-либо существовавших на земле».

Главное часто открывается под занавес долгого разговора. Великие истины произносятся на пороге.

Слабое место у Пруста — это головокружительно многословные описания ничтожных деталей, символистский душок, нагромождение эффектов, поэтическая

перегруженность текста. Все равно как если бы Сен-Симон испытал на себе влияние прециозной литературы. В наше время его никто бы уже не читал.

Письмо, достойное именоваться таковым, пишется под воздействием восхищения или негодования — в общем, крайних чувств. Понятно, почему рассудительное письмо — это письмо мертворожденное.

Знавал я туповатых и даже глупых писателей. Зато переводчики, с которыми мне доводилось общаться, были умнее и интереснее, чем авторы, которых они переводили. Ибо для перевода требуется большая вдумчивость, нежели для «творения».

Тот, кого близкие считают человеком «необычным», не должен давать им улик против самого себя. Ему не следует оставлять какие-либо следы, в особенности письменные, если однажды он желает стать для всех таким, каким его видели лишь немногие.

Для писателя сменить язык — все равно что писать любовное письмо со словарем.

«Я чувствую, что ты готов ненавидеть не только то, что думают другие, но и то, что ты думаешь сам», — сразу заявила она мне после столь долгой разлуки. На прощание она рассказала мне китайскую притчу, из которой следовало, что ничто не может сравниться с забвением самого себя. И это она — самое *земное,* насыщенное внутренней и просто энергией, самое привязанное к своему «я», озабоченное самим собой существо, какое только можно представить! — что за недоразумение заставляет ее проповедовать отстраненность от жизни, да так, что она сама полагает, будто является ее совершенным образчиком?

Непозволительно дурное воспитание, скупость, подлость, наглость, хитрость, умение схватывать малейшие оттенки, привычка вопить от радости, услышав какое-нибудь невероятное высказывание

или шутку, интриганство и клеветничество... все в нем было очаровательно и отвратительно. Подлец, которого нам не хватает.

Задача каждого из нас — довести до предела ту ложь, которую он воплощает, достичь того состояния, когда сам становишься лишь иллюзией, уже изжившей себя.

Ясность ума... нескончаемая мука, немыслимый подвиг.

Те, кто желает поведать нам скандальные тайны, цинично рассчитывают на наше любопытство, чтобы удовлетворить собственную потребность выставлять секреты напоказ. **В** то же время они прекрасно знают, что нам слишком страстно этого хочется, чтобы их разоблачать.

Только музыка способна создать между двумя людьми нерушимую связь. Страсть преходяща, она деградирует, как

и всё, что имеет отношение к жизни, тогда как музыка по природе своей стоит над жизнью и, разумеется, над смертью.

Если у меня нет вкуса к Таинственному, то это потому, что все кажется мне необъяснимым — да что уж там, — потому что я живу необъяснимым и уже им пресытился.

Некто упрекнул меня за то, что я веду себя как зритель, не иду в ногу со временем, питаю отвращение ко всему новому. «Но я не хочу ничто менять на ничто», — ответил я ему. Он не уловил смысл моей фразы. Он счел, что я очень скромен.

Справедливо замечено, что философский жаргон так же недолговечен, как и обычный. В чем причина? Первый слишком искусственен, второй чересчур живой. Два случая губительного излишества.

Он доживает свои последние дни месяцами, годами и говорит о своей смерти в прошедшем времени. Посмертное существование. Удивляюсь, как ему удается жить, ведь он почти ничего не ест: «Чтобы слиться воедино, моему телу и душе потребовалось столько времени и усилий, что теперь им никак не расстаться».

Если голос его не похож на голос умирающего, то это потому, что он слишком давно покинул эту жизнь. «Я как задутая свеча» — самое точное высказывание, которое он произнес относительно своей последней метаморфозы. Когда я намекнул, что здесь, возможно, замешано какоето чудо, — «И наверняка не одно,» — сказал он в ответ.

После пятнадцати лет, проведенных в абсолютном одиночестве, святой Серафим Саровский, завидев любого самого захудалого гостя, восклицал: «О, радость моя!»

Кому из тех, кто постоянно живет бок о бок с себе подобными, взбредет в голову приветствовать их таким образом?

Читателю не менее тяжело выжить после разрушительной книги, чем ее автору.

Необходимо пребывать в некоем состоянии восприятия, то есть физического ослабления, чтобы слова могли коснуться нас, проникнуть внутрь и начать там своего рода карьеру.

Богоубийца — это самое лестное оскорбление, которое можно нанести человеку или народу.

Оргазм — это припадок; отчаяние — тоже. Первый длится мгновение, второй — всю жизнь.

У нее был профиль Клеопатры. Семь лет спустя — ей пристало бы просить милостыню на углу улицы. Это навсегда исцеляет вас от любого идолопоклонства,

от всякого желания искать *бездонность* в глазах, в улыбке и во всем остальном.

Будем рассуждать здраво: никому не дано полностью освободиться ото всего. При отсутствии вселенского разочарования не может быть и вселенского познания.

Все, что не раздирает душу, — излишне, по крайней мере в музыке.

Если верить Ницше, Брамс был представителем «die Melancholie des Unvermôgens» — грусти бессилия.

Эта мысль, высказанная философом накануне собственного крушения, навсегда затмила его блеск.

Ничего не совершить и умереть от переутомления.

У прохожих идиотские лица — и как мы до такого докатились? Можно ли

представить подобное зрелище в древности, например в Афинах? Достаточно минутного прозрения среди всех этих проклятых, и все иллюзии рушатся.

Чем сильнее ненавидишь людей, тем более ты созрел для Бога, для диалога в одиночестве.

Огромная усталость по глубине своей подобна высшему наслаждению, за тем исключением, что, испытывая ее, вы *опускаетесь* на самое дно своего сознания.

Как явление распятого Христа разрезало историю надвое, так и эта ночь только что разрезала надвое мою жизнь...

Как только умолкает музыка, все начинает казаться ничтожным и бесполезным. Понятно, что можно ее ненавидеть, что есть соблазн уравнять ее совершенство с шарлатанством. Поэтому, *любя ее слишком сильно,* необходимо противостоять ей любой ценой. Никто не постиг ее опасности

глубже, чем Толстой, ибо он знал, что она способна делать с ним все что угодно. Поэтому он почувствовал омерзение к музыке, боясь превратиться в ее игрушку.

Отказ — это единственный вид поступка, который не является унизительным.

Можно ли представить себе горожанина, который в душе не был бы убийцей?

Питать любовь лишь к мысли смутной — той, что не достигает слова, и к мысли мгновенной — той, что живет только в слове. Бред и вздор.

Молодой немец просит у меня франк. Я вступаю с ним в разговор и узнаю, что он поездил по миру, был в Индии, полюбил тамошних нищих и вообразил себя им подобным. Однако принадлежность к нации, склонной к дидактике, не проходит безнаказанно. Я смотрел, как он клянчит

милостыню: он делал это так, будто изучал нищенство на курсах.

Природа, искавшая решение, способное удовлетворить всех, остановила свой выбор на смерти, которая — как и следовало ожидать, — никого не удовлетворила.

В Гераклите, с одной стороны, есть что-то от Дельфийского оракула, а с другой — что-то от школьного учебника: это смесь гениальных прозрений и азбучных истин, вдохновенного мыслителя и недагога. Как жаль, что он не абстрагировался от науки, никогда не мыслил *внеее*\

Я так часто негодовал по поводу действия во всех его формах, что любое проявление самого себя кажется мне обманом, даже предательством.

— Тем не менее вы продолжаете жить и дышать.

— Да, я делаю то, что делают все. *Но...*

РАЗЛОМЫ

Что же думать о ныне живущих, если верно утверждение, будто всё смертное никогда не существовало.

Когда я слушал его рассказы о планах на будущее, я не мог забыть, что он не протянет и недели. Что за безумие с его стороны говорить о будущем, о своем будущем! Но я вышел от него, мне пришло в голову, что в конце концов разница между смертным и умирающим не слишком велика. Только во втором случае абсурдность планов на будущее чуть более очевидна.

Принадлежность человека к эпохе всегда определяется его кумирами. Стоит процитировать кого-либо кроме Гомера или Шекспира, и сразу возникает риск показаться старомодным или чокнутым.

Бога еще, на худой конец, можно представить себе говорящим по-французски. Но Христа — никогда. Его словами невозможно говорить на языке, на котором

так трудно выразить наивное или возвышенное.

Столько лет задавать себе вопрос о человеке! Невозможно в большей степени развить в себе вкус ко всему дурному.

Ярость — это от Бога или от дьявола? И от того, и от другого: иначе как объяснить, что она грезит о галактиках, чтобы разметать их в пыль, и сокрушается, что не имеет под рукой ничего кроме этой несчастной, этой жалкой планеты?

Мы все так суетимся — зачем? Чтобы вернуться к тому, чем мы были до своего существования.

Один человек, всю жизнь терпевший одни неудачи, пожаловался при мне, что у него нет судьбы.

— Да нет же, была! Череда ваших неудач так примечательна, что в ней явно проглядывает некий замысел провидения.

Женщина была значима лишь до тех пор, пока притворялась стыдливой и сдержанной. Какую оплошность она допускает, когда перестает играть эту роль! Грош ей цена теперь, когда она уподобилась нам. Вот так исчезает одна из последних иллюзий, делавших сносным наше существование.

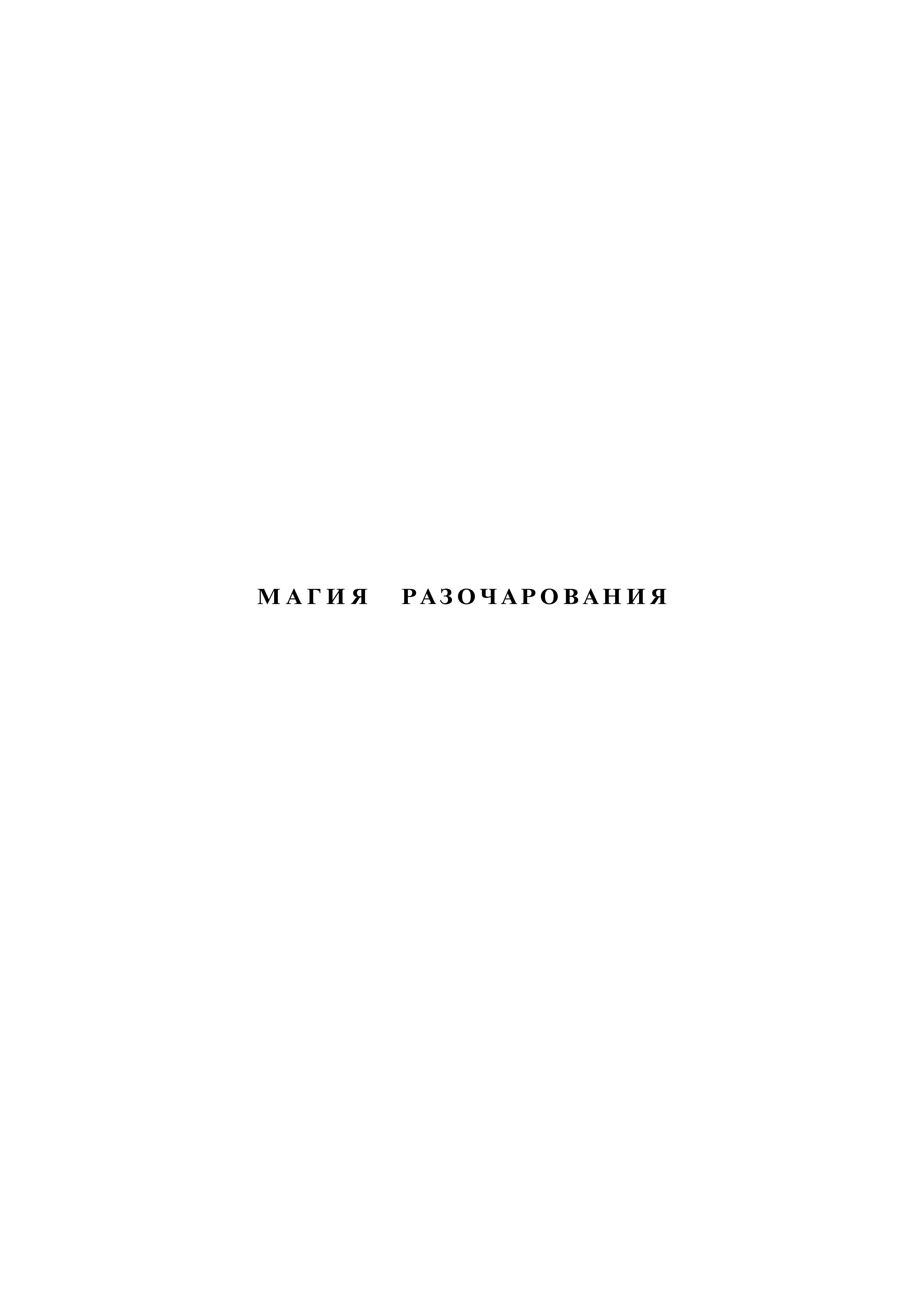
Любовь к ближнему — вещь невообразимая. Разве можно требовать, чтобы один вирус любил другого?

В жизни единственно значимыми событиями являются разрывы. Именно они последними стираются из нашей памяти.

Узнав, что он совершенно не воспринимает ни Достоевского, ни Музыку, я, несмотря на его великие заслуги, отказался от встречи с ним. Мне гораздо милей любой тупица, неравнодушный к тому или к той.

Сам факт, что жизнь лишена всякого смысла, — уже причина для того, чтобы жить... и к тому же единственная.

Поскольку день за днем я жил бок о бок с Самоубийством, с моей стороны было бы несправедливостью и неблагодарностью чернить его. Да и что может быть разумнее, естественнее? Неразумным и неестественным является как раз неудержимое стремление жить — опасный, истинный порок, мой порок.



МАГИЯ РАЗОЧАРОВАНИЯ

Нам следовало бы говорить лишь о чувствах и представлениях, но только не об идеях, ибо они не исходят из самого нутра и никогда не бывают по-настоящему *нашими*.

Небеса хмурятся, и мой мозг — их зеркальное отражение.

Опустошенный скукой — как *медленно* кружащим вихрем...

Бывает, разумеется, меланхолия клиническая, на которую иногда еще можно воздействовать лекарствами; но есть и другая, подспудно присутствующая в нас

даже в моменты бурного веселья и сопровождающая нас повсюду, ни на миг не оставляя *в одиночестве.* Ничто не в состоянии освободить нас от этой пагубной вездесущности: она стала нашим «я», навсегда застывшим перед лицом самого себя.

Беседуя с тем иноземным поэтом, который, перебрав несколько столичных городов, остановился у нас, я обнадежил его, сказав, что он последовал верному совету и что, помимо разных других преимуществ, здесь ему будет предоставлена возможность подохнуть с голоду, никого не стесняя. Чтобы ободрить его еще больше, я заметил, что фиаско здесь — настолько обычное дело, что заменяет пропуск в любой дом. Судя по блеску, который я заметил в его глазах, эта подробность его совершенно удовлетворила.

«Тот факт, что ты дожил до своих лет, доказывает, что жизнь имеет некий смысл», — сказал мне один из друзей после тридцатилетней разлуки. Мне часто вспоминаются эти слова, и каждый раз они меня поражают, хотя были произнесены

человеком, который находит смысл всегда и во всем.

Для Малларме, который, как он сам утверждал, был обречен бодрствовать круглые сутки, сон являлся не «насущной потребностью», а «милостью».

Только великий поэт мог позволить себе изречь подобную глупость.

Бессонница, по-видимому, не коснулась животных. Если бы в течение нескольких недель мы не давали им спать, их характер и поведение претерпели бы коренные изменения. Животные испытали бы доселе неведомые им ощущения, которые, как считалось раньше, свойственны только нам. Так будем же вносить разлад в мир животных, если желаем, чтобы они сравнялись с нами и подменили нас собой.

В каждом письме к одной своей японской приятельнице я обычно рекомендую ей послушать то или иное произведение Брамса. Недавно она написала мне,

что только что вышла из токийской больницы, куда ее увезли на «скорой» после чересчур рьяного прослушивания моего кумира. Какое трио, какая соната послужили тому виной? Не важно. Только музыка, способная вызывать обморок, достойна того, чтобы ее слушали.

Ни в какой болтовне по поводу Познания, ни в какой теории познания, Erkenntnistheorie, которой так упиваются немецкие и прочие философы, вы не обнаружите ни малейшего знака почтения к Усталости как таковой — состоянию, которое в наибольшей мере способно заставить нас проникать в глубь вещей. Эта забывчивость или же неблагодарность окончательно дискредитирует философию.

Прошелся по кладбищу Монпарнас.

Все — молодые и старые — строили планы на будущее. Больше не строят.

Как хороший ученик, вдохновленный их примером, вернувшись домой, я навсегда поклялся не строить никаких планов.

Прогулка несомненно пошла мне на пользу.

Мне вспомнился К., для которого чашка кофе была единственным смыслом существования. Однажды, когда я дрожащим от волнения голосом расписывал ему преимущества буддизма, он мне ответил: «Нирвана — пожалуй, но только с чашечкой кофе».

У всех нас есть какая-нибудь мания, мешающая нам безоговорочно принять высшее блаженство.

Читая текст мадам Перье, вернее то место, где она рассказывает, что, по собственному признанию Паскаля, ее брата, с восемнадцатилетнего возраста не проходило и дня, чтобы он не страдал, я был потрясен настолько, что прикусил палец, чтобы не закричать.

Это произошло в публичной библиотеке. Мне было — нелишне оговориться — как раз восемнадцать лет. Какое предвидение — но в то же время какая глупость, какое самомнение!

Избавиться от жизни значит лишить себя удовольствия смеяться над ней.

Единственный возможный ответ человеку, который заявляет вам о своем намерении покончить с собой.

Бытие никогда не вызывает разочарования, — утверждает один философ. Что же тогда вызывает разочарование? Уж конечно, не небытие, которое по самой природе не способно разочаровать. Должно быть, именно это преимущество, вызвавшее — поневоле — неизбежное раздражение у нашего философа, заставило его провозгласить столь явную ложь.

Дружба интересна тем, что она, почти как любовь, является неиссякаемым источником разочарования и яростной ненависти, а стало быть, изобилует сюрпризами, отказываться от которых было бы неразумно.

Самый верный способ не потерять сразу свой рассудок — вспомнить, что все нереально и таковым останется...

Он рассеянно пожимает мне руку. Я осыпаю его вопросами, но его ответы столь оскорбительно лаконичны, что у меня пропадает весь пыл. Ни единого из тех пустых словечек, которые так необходимы для поддержания диалога. Это же все-таки диалог! Слово — признак жизни, вот почему болтливый дурак нам ближе, чем замкнутый недоумок.

Нет никакой защиты против того, кто расточает вам комплименты. С ним нельзя согласиться, не показавшись при этом смешным; но нельзя и оттолкнуть его, повернуться к нему спиной. Не зная, как отреагировать, вы ведете себя так, будто он говорит правду, и позволяете себя расхваливать. Он же считает, что вы попались на его удочку, что вы в его власти, и наслаждается победой, а вы не можете его в этом разуверить. Чаще всего это ваш

будущий враг, который будет мстить за то, что он перед вами унижался, это скрытый агрессор, который, расточая гиперболы, думает, как бы ударить побольнее.

Лучший способ обрести верных друзей — поздравлять их с неудачами.

Этот мыслитель нашел прибежище в многословии, как иные — в изумленном молчании.

Некоторое время позанимавшись какой-либо темой, можно с налету судить о любом относящемся к ней научном труде. Открыв некую книгу о гностицизме, я тут же понял, что ей нельзя верить. Это несмотря на то, что успел прочесть из нее одну-единственную фразу, да к тому же я всего лишь жалкий дилетант в этой области, едва осведомленная посредственность.

А теперь представим себе абсолютного специалиста, титана — например, Бога: все, что мы делаем, должно казаться

ему грубой халтурой — даже наши бесподобные достижения, даже те из них, которые должны были бы его поразить и унизить.

Между «Бытием» и «Апокалипсисом» царит бессовестный обман. Это важно знать, ибо, как только вы усвоили этот головокружительный в своей очевидности факт, любые рецепты достижения мудрости становятся излишними.

Когда, проявив слабость, садишься работать над книгой, нельзя без восхищения думать о том хасидском раввине, который отказался от подобных планов, поскольку не был уверен, что ему по силам написать книгу исключительно ради удовольствия своего Создателя.

Если бы Час Разочарования пробил одновременно для всех, перед нами предстала бы совершенно новая версия то ли рая, то ли ада.

Невозможно *вести диалог* с физической болью.

Бесконечно замкнуться в самом себе, как Бог после шести дней Творения. Хоть в этом последуем его примеру.

Свет утренней зари — это свет истинный, первоосновной. Всякий раз, созерцая его, я благословляю свои бессонные ночи, которые дарят мне возможность лицезреть Начало. Иейтс называет этот свет «сладострастным». Прекрасная, но спорная находка.

Узнав, что он вскоре намерен жениться, я предпочел скрыть свое удивление за общей фразой: «Все совместимо со всем». А он мне: «Верно, поскольку мужчина совместим с женщиной».

Огонь страсти пробегает по жилам... Перебежать на другую сторону, не задев смерть.

Этот гордый вид, который мы принимаем, испытав удар судьбы...

На вершине успеха — не стоит и пояснять какого — хочется воскликнуть: «Свершилось!»

Всегда полезно иметь под рукой евангельские клише, в особенности взятые из «Страстей Шсподних», в те минуты, когда кажется, будто можешь без них обойтись.

Скептические замечания, столь редко встречающиеся у Отцов Церкви, в наши дни выглядят *современно.* Разумеется, ведь после того, как христианство сыграло свою роль, то, что у самых истоков предвещало его конец, теперь становится предметом смакования.

Каждый раз, когда я вижу пьяного, грязного, запуганного, вонючего бродягу, валяющегося со своей бутылкой на краю тротуара, мне представляется человек будущего, который прилагает все силы, стремясь к собственному концу, и достигает своей цели.

Даже пребывая в серьезном душевном расстройстве, он изрекает одну банальность за другой. Бремя от времени у него вырывается какое-нибудь замечание, граничащее одноврс менно и со слабоумием, и с гениальностью. Должна же быть хоть какая-то польс і от расстройства ума.

Когда думаешь что достиг некоторой степени отрешен] ости, то считаешь всех энтузиастов, вклю ая и основателей религиозных учений, і эмедиантами. Но разве отрешенность са а по себе не участвует в этом комедиан стве? Если любые поступки притворны, ам отказ от них

тоже является таковым — и тем не менее это благородное притворство.

Его беззаботность поражает и восхищает меня. Он никуда не спешит, не стремится в определенном направлении, ничто его не увлекает. Можно подумать, что при рождении он выпил успокоительное, которое все еще продолжает действовать, благодаря чему на его лице играет несокрушимая улыбка.

Жалок тот, кто, исчерпав весь запас презрения, уже не знает, какие чувства испытывать по отношению к другим и к самому себе!

Отрезанный от мира и от всех своих друзей, он читал мне с почти необходимым для такого случая легким русским акцентом начало из Книги Книг. Дойдя до того момента, когда Адама изгоняют из Рая, он задумчиво умолк, глядя куда-то вдаль, в то время как я более-менее ясно осознал для себя, что по прошествии тысячелетий, исполненных несбывшихся

надежд, человечество, рассердившись за то, что ему приходилось обманывать, наконец-то обретет смысл своего проклятия и таким образом станет достойным своего прародителя.

Если Мастер Экхарт — единственный «схоластик», которого еще можно читать, то это потому, что его мысль не только глубока, но и наделена очарованием, *обаянием* — редкое достоинство во времена засилья веры.

Когда слушаешь какую-нибудь ораторию, можно ли допустить мысль, что все эти мольбы и душераздирающие излияния не скрывают в себе ничего реального и не обращены ни к кому конкретно, что за ними ничего не стоит и что им суждено навсегда раствориться *в воздухе?*

В одной индусской деревне, жители которой ткали кашемировые шали, долгое время гостил некий европейский промышленник, и, живя там, он начал изучать приемы, которые использовали ткачи,

сами того не осознавая. Досконально изучив их, он решил рассказать о них этим простым людям, которые в результате утратили всякую непосредственность и превратились в очень плохих работников.

Избыточная осознанность мешает всякому делу. Слишком длинные рассуждения о сексуальности убивают ее. Эротизм — этот бич вырождающихся обществ — есть посягательство на инстинкт, организованная импотенция. Невозможно безнаказанно размышлять о подвигах, для совершения которых не нужны никакие размышления. Оргазм никогда не был событием философским.

Моя зависимость от климатических условий никогда не позволит мне признать самодостаточность воли. Метеорология определяет настрой моих мыслей. Более подлым детерминистом, чем я, невозможно быть, но что поделаешь? Стоит мне забыть, что у меня есть тело, и я сразу же начинаю верить в свободу. Но я перестаю в нее верить, как только тело вновь призывает меня к порядку, навязывая мне свои болячки и капризы. Здесь уместно высказывание Монтескье: «Счастье или

несчастье состоит в определенном расположении органов».

Если бы я совершил все, что задумал, разве это сделало бы меня теперь счастливее? Конечно нет. Отправившись когда-то в дальний путь, на поиски пределов самого себя, по дороге я начал сомневаться в своей цели и во всех целях вообще.

Как правило, увлечение каким-либо человеком или идеей зарождается под воздействием суицидальных настроений. Какой свет это проливает на природу любви и фанатизма!

Ничто так не препятствует освобождению, как потребность в неудаче.

Познание в обычном значении — это освобождение от чего-то; познание в значении абсолютном — это освобождение от всего. Озарение представляет собой еще один шаг вперед: это уверенность, что отныне вы уже никогда не попадетесь на

удочку. Это последний взгляд, брошенный на заблуждения.

Я изо всех сил стараюсь представить себе вселенную без... меня. К счастью, существование смерти компенсирует недостаток моего воображения.

Поскольку наши пороки являются не случайными поверхностными изъянами, а представляют собой самую глубину нашей природы, исправить их мы можем лишь исказив ее, извратив ее еще больше.

Взрыв возмущения — вот самая древняя и самая *живая* из наших реакций.

Не думаю, чтобы во всех трудах Маркса нашлось хоть одно *бесстрастное* рассуждение о смерти.

...Так я говорил себе, стоя перед его могилой на Хайгейтском кладбище.

Его поэзия *молниеносна.*

Я предпочел бы пожертвовать жизнью, нежели быть *нужным* кому бы то ни было.

Согласно ведической мифологии, любой, кто возвышается через познание, нарушает порядок небес. Боги всегда настороже, они живут в страхе, что кто-то их превзойдет.

Но разве Господь из Книги Бытия не поступал так же? Разве он не шпионил за человеком, потому что боялся его? Потому что видел в нем конкурента?

В таком случае понятно желание великих мистиков бежать от Бога, от его запретов и придирок, и раствориться в безграничности Божества.

Умирая, человек становится хозяином вселенной.

Для человека, только что оправившегося от любовного недуга, возможность нового увлечения видится столь

немыслимой, что ему кажется, будто все живые существа, вплоть до последней мошки, ввергнуты в пучину разочарования.

Мое предназначение в том, чтобы видеть вещи такими, каковы они суть. Ничего общего с предназначением...

Быть родом из страны, где неудачи вменялись в обязанность и где фраза: «Я не смог реализовать себя» — была лейтмотивом всех доверительных бесед.

Нет такой судьбы, к которой я мог бы приспособиться. Я был создан, чтобы жить до своего рождения и после своей смерти, но не в течение самой своей жизни.

Эти ночи, когда убеждаешь себя, будто все — даже мертвецы — покинули этот мир и будто ты здесь последний живой человек, последний призрак.

Чтобы возвыситься до сострадания, нужно довести озабоченность самим собой до пресыщения, до отвращения, ибо такая крайняя степень омерзения является признаком здоровья, необходимым условием, чтобы видеть дальше собственных бед и горестей.

Нигде ничего подлинного; везде подобия, от которых нечего ждать. Так зачем к изначальному разочарованию добавлять все те разочарования, что приходят потом, подтверждая его с дьявольской регулярностью день за днем?

«Святой Дух — не скептик», — учит нас Лютер.

Не всем дано быть скептиками, а жаль.

Уныние, всегда готовое служить познанию, приоткрывает для нас завесу над иной стороной, над внутренней тенью людей и вещей. Вот откуда берется то ощу-

щение непогрешимости, которое уныние нам дарует.

Чистое течение времени, голое время, сведенное к сущности потока, не прерываемого мгновениями, постигается лишь в бессонные ночи. Все исчезает. Всюду просачивается тишина. Слушаешь, но ничего не слышишь. Чувства уже не обращены вовне. Да и куда вовне? Состояние поглощенности исчезает, остается лишь этот проходящий сквозь нас чистый поток, который *есть* мы и прервать который сможет лишь сон или день.

Серьезность не входит в определение бытия; трагизм — да, потому что он несет в себе идею авантюры, бессмысленного катаклизма, тогда как серьезность предполагает наличие цели. Однако великое своеобразие бытия заключается как раз в его бесцельности.

Любя кого-то и желая привязаться к нему еще сильнее, хочешь, чтобы его постигло какое-нибудь большое несчастье.

Прельщаться отныне лишь тем, что лежит за пределами любых... пределов.

Если бы я действовал в соответствии со своим первым побуждением, я бы только и делал, что целыми днями писал бранные и прощальные письма.

Он имел бесстыдство умереть.

Действительно, в смерти есть что-то неприличное. Разумеется, этот ее аспект приходит на ум в последнюю очередь.

Я растрачивал час за часом, размышляя о том, что казалось мне в высшей степени достойным глубокого изучения: о тщете всего сущего — то есть о том, что не стоит и секунды раздумий, ибо непонятно, что еще можно сказать за или против самой очевидности этого факта.

Я предпочитаю женщин мужчинам, поскольку женщины обладают перед

мужчинами тем преимуществом, что они менее уравновешенны, а значит, более сложно устроены, более проницательны и более циничны, не говоря уже о том таинственном превосходстве, которое дало им тысячелетнее рабство.

Ахматова, как и Гоголь, не хотела ничем владеть. Она раздавала подарки, которые ей преподносили, и несколько дней спустя их находили у совершенно других людей. Эта черта напоминает нравы кочевников, по необходимости и по склонности своей вынужденных пользоваться лишь временными благами. Жозеф де Местр упоминает об одном из своих друзей, русском князе, который спал в своем дворце где придется, не имея, так сказать, определенного спального места, поскольку жил с ощущением, будто он здесь проездом, остановился ненадолго, чтобы вскоре уехать.

...Если подобные примеры отрешенности можно встретить в Восточной Европе, зачем искать их в Индии или еще где-то?

Письма, в которых речь идет лишь о душевных терзаниях и метафизических вопросах, быстро наскучивают. Чтобы создать впечатление правдоподобия, во всем нужна доля *мелочности*. Если бы ангелы занялись писательством, то — за исключением падших — их было бы невозможно читать. Безупречная *чистота* переваривается с трудом, поскольку она несовместима с вдохновением.

Внезапно, прямо посреди улицы охваченный мыслью о «тайне» Времени, я подумал, что святой Августин был совершенно прав, когда, рассматривая подобную тему, обращался непосредственно к Богу: да и с кем еще можно ее обсуждать?

Я мог бы выразить все, что меня терзает, если бы меня избавили от того позорного факта, что я не музыкант.

Замученный мировыми проблемами, я днем ложился на кровать — идеальное

положение, чтобы *без остатка,* без тени сознания собственного «я», которое препятствует освобождению, состоянию полного очищения от мыслей, погрузиться в размышления о нирване. Сначала приходит ощущение блаженной слабости, затем — блаженная слабость без ощущений. Я верил, что стою у последней черты; но это была всего лишь пародия, медленное оцепенение, погружение в бездну... послеобеденного сна.

Согласно иудейской традиции, Тора — книга Бога — на две тысячи лет старше сотворения мира. Еще ни один народ не ставил себя так высоко. Приписывать своей священной книге такую древность; верить, будто она написана раньше, чем сказано: «Да будет свет!»

Вот так создается судьба.

Открыв антологию религиозных текстов, я сразу напал на такое изречение Будды: «Ни один предмет не стоит того, чтобы его желать». Я тотчас же закрыл книгу, ибо что еще читать после этого?

Чем более стареешь, тем слабее становится характер. Каждый раз, когда удается его проявить, испытываешь смущение, выглядишь скованным. Отсюда чувство неловкости перед теми, от кого *исходит* убежденность.

Я рад, что мне довелось общаться с гасконцем — настоящим гасконцем. Человека, о котором идет речь, я никогда не видел удрученным. Все свои злоключения — и притом неслыханные — он преподносил мне как собственные победы. Между ним и Дон Кихотом разница была ничтожной. Тем не менее иногда он пытался посмотреть на вещи реально, но эти усилия, должно быть, ни к чему не приводили. Ему до самого конца так и не хватило воли для разочарования.

Если бы я слушался своих внутренних порывов, я бы уже либо сошел с ума, либо болтался на виселице.

Я заметил, что после любого внутреннего потрясения мои мысли, испытав недолгий взлет, принимают жалкий и даже гротескный оборот. Это неизменно происходит во время моих кризисов, серьезных и не очень. Стоит лишь выскочить за пределы жизни, как она сразу же мстит за себя и возвращает вас на свой уровень.

Я никак не могу понять, принимаю ли я себя всерьез или нет. Трагедия отрешенности в том и состоит, что глубину ее невозможно измерить. Вы продвигаетесь в глубь пустыни, но никогда не знаете, в какой именно точке находитесь.

Я отправился в дальний путь на поиски солнца, но солнце, наконец обретенное, было ко мне враждебно» А что, если броситься со скалы? Я предавался довольно мрачным размышлениям, и глядел на все эти сосны, эти скалы, эти волны, и тут внезапно почувствовал, до какой степени я привязан к этому миру, прекрасному и проклятому миру.

Хандру совершенно несправедливо ставят гораздо ниже страха. На самом деле она опаснее, чем чувство страха, но ей отвратительны те проявления, которые предпочитает страх. Хандра более незаметна и в то же время более опустошительна, она может возникнуть в любую минуту, тогда как страх — запрятанный глубже — бережет себя для важных моментов.

Он приезжает как турист, и я встречаю его всегда случайно. На этот раз он с особой откровенностью сообщает мне, что чувствует себя превосходно и испытывает ощущение легкости, которую он непрестанно осознает. В ответ я говорю, что его здоровье внушает мне сомнение, ибо постоянно замечать, что оно у тебя есть, — это ненормально, и что настоящее здоровье никогда не *ощущается.* Не доверяйте своему хорошему самочувствию, — пожелал я ему на прощанье.

Не стоит добавлять, что с тех пор я больше его не встречал.

При малейшем недовольстве, а тем паче при малейшем огорчении нужно скорее бежать на ближайшее кладбище, где сразу обретаешь такое спокойствие, которого не найдешь больше нигде. Чудесное лекарство на один прием.

Сожаление, переселяющее нас обратно в прошлое, по своей прихоти воскрешая нашу жизнь, дарит нам иллюзию того, что у нас было множество жизней.

О моей слабости к Талейрану. Если ты циничен лишь на словах, то восхищаешься тем, кто на деле был магистром цинизма.

Если бы какое-нибудь правительство среди лета объявило, что отпуска и каникулы продлеваются до бесконечности и что под страхом смерти никто не должен покидать тот рай, в котором он пребывает, за этим последовали бы массовые самоубийства и беспрецедентная резня.

И счастье, и невзгоды делают меня в равной степени несчастным. Отчего же тогда порой мне случается отдавать предпочтение первому?

Глубина страсти измеряется сокрытыми в ней низменными чувствами, которые обеспечивают ей силу и продолжительность.

Безносая — по выражению Гёте, *никудышная портретистка* — якобы придает лицам какое-то фальшивое, неправдоподобное выражение; конечно, он не тот, кто, подобно Новалису, мог приравнять ее к природному началу, «романтизирующему» жизнь.

В его оправдание заметим, что поскольку он прожил на пятьдесят лет дольше, чем автор «Гимнов к Ночи», у него было достаточно времени, чтобы утратить иллюзии относительно смерти.

В поезде ехала немолодая, претендующая на некоторую изысканность дама;

рядом с ней — идиот, сынок лет тридцати, который время от времени брал ее руку, нарочито прикладывался к ней в поцелуе, а затем блаженно глядел на мать. Она сияла от счастья и улыбалась.

Раньше я не представлял, что значит *окаменеть* от любопытства. Теперь это чувство мне знакомо, потому что я испытал его при виде сего зрелища. Мне открылась новая разновидность душевного потрясения.

Музыка существует, пока ее слушают, как Бог существует, пока длится экстаз.

Между высшим искусством и высшим существом общее то, что оба они целиком зависят от нас.

Некоторых — по правде говоря, большинство — музыка ободряет и утешает; другие же находят в ней желанное растворение, неожиданный способ утратить себя, окунуться в то, что есть в мире лучшего.

Порвать со своими богами, со своими предками, со своим языком и страной, порвать со всем — разумеется, это ужасное испытание; но в то же время это восхитительный опыт, пережить который так жадно стремятся перебежчики и, еще больше, предатели.

Из всего, что приносит нам страдания, только разочарование может подарить нам ощущение того, что мы наконец-то прикоснулись к Истине.

Как только человек начинает сдавать, вместо того чтобы отчаиваться, ему следовало бы заявить о своем праве больше не быть самим собой.

Мы добиваемся почти всего, кроме того, что мы желаем втайне. И вероятно, справедливо, что самое дорогое для нас оказывается недостижимым и что самое главное в нас самих и в пройденном нами пути остается нераскрытым, нереализован-

ным. Провидение замечательно все устроило: пусть каждый извлекает выгоду и славу из величия своей разбитой души.

Остаться тождественным самому себе — именно с этой целью, как утверждает «Зогар», Бог создал человека и заповедал ему хранить верность древу жизни. Однако тот предпочел другое дерево, произраставшее в «области вариаций». А его грехопадение? Безумная жажда перемен, плод любопытства — вот где источник всех несчастий. Вот так то, что для первого из нас было всего лишь блажью, стало для всех нас *законом.*

Толика жалости есть в любой форме привязанности: и в любви, и даже в дружбе, — исключая, впрочем, восхищение.

Выйти невредимым из жизни — такое могло бы случиться, но не случается, вероятно, никогда.

Бедствие, произошедшее слишком недавно, имеет то неудобство, что мешает нам разглядеть его положительные стороны.

В прошлом веке о любви и о музыке лучше всего говорили Шопенгауэр и Ницше. Однако и тот, и другой были завсегдатаями борделей, а что касается музыкальных пристрастий, то первый был без ума от Россини, а второй — от Бизе.

Случайно повстречав Л., я сказал ему, что соперничество между святыми было самым яростным и самым тайным из всех соперничеств. Он попросил меня привести примеры — в тот момент я не смог найти ни одного, да и теперь не нахожу. И все-таки этот факт кажется мне доказанным...

Сознание: сумма всех наших переживаний, начиная с рождения и до нынешнего состояния. Те переживания исчезли;

сознание осталось — но оно утратило свои истоки... оно даже не подозревает о них.

Меланхолия питает сама себя, вот почему она не способна обновляться.

В Талмуде есть поразительное утверждение: «Чем больше людей, тем больше образов божественного в мире».

Возможно, так оно было во времена, когда было высказано это замечание, которое ныне опровергается всем, что мы видим, и будет опровергаться еще больше тем, что мы увидим в будущем.

Я надеялся еще при жизни увидеть исчезновение рода человеческого. Но боги оказались против меня.

Я счастлив, лишь когда замыслил отречься от чего-то и готовлюсь к этому. Все остальное — досада и суета. Отречение — дело нелегкое. Однако даже стремление к нему приносит покой. Стремление? Одной только мысли об отречении достаточно,

чтобы у вас появилась иллюзия, будто вы стали другим, и эта иллюзия — самая сладкая и в то же время самая обманчивая из побед.

Он как никто ощущал, что мир — игра. Каждый раз, когда я упоминал об этом, он с заговорщицкой улыбкой произносил санскритское слово lî lâ — согласно Веданте, абсолютная беспричинность, творение мира ради забавы божества. Как мы вместе с ним смеялись над всем на свете! А теперь он — самый веселый из тех, кто избавился от заблуждений, — по собственной вине оказался брошенным в эту бездну, потому что на один-единственный раз согласился принять небытие всерьез.

ПЕРЕД ЛИЦОМ МГНОВЕНИЙ

Не гений, а страдание, и только оно, позволяет нам не быть марионетками.

Когда человек поддается очарованию смерти, все происходит так, будто он знавал ее в прошлой жизни и теперь ему не терпится поскорее встретиться с нею вновь.

Заподозрив кого-либо в том, что он питает хоть малейшую слабость к Будущему, знайте: ваш подозреваемый бывал не у одного психиатра.

«Ваши истины невыносимы». — «Это *для вас* они невыносимы», — тут же ответил я этому простаку.

Однако, вместо того чтобы бахвалиться, я захотел добавить: «И для меня тоже...»

Человек недоволен тем, что он человек. Но он не знает, *к чему* вернуться и как восстановить то состояние, о котором у него не сохранилось никаких ясных воспоминаний. Ностальгия по тому состоянию лежит в основе его существа, и именно через нее человек сообщается с тем, что осталось в нем наиболее древнего.

Органист играл в безлюдной церкви. Больше никого, только кот, вертевшийся у моих ног... Я был потрясен страстью музыканта: на меня нахлынули вечно мучившие меня вопросы. Ответ органа показался мне неудовлетворительным, но, учитывая мое тогдашнее состояние, это все-таки — несмотря ни на что — был ответ.

Идеально правдивый человек, которого мы всегда вольны себе вообразить, — тот, кто никогда не станет искать прибежища в эвфемизмах.

Я безумно стремился к Бесстрастию, в поклонении которому мне не было равных, и чем больше я желал его достичь, тем больше я от него отдалялся. Закономерное поражение для того, кто преследует цель, противоречащую его натуре.

Одно замешательство в нас сменяет другое. Из этого наблюдения не следует никакого вывода, оно никому не мешает вершить свою судьбу, чтобы прийти в итоге к вселенскому замешательству.

Чувство тревоги происходит вовсе не от нервного расстройства, оно основывается на самом устроении этого мира, и непонятно, отчего мы не испытываем его постоянно: ведь время само по себе является не чем иным, как тревогой в ее полном развитии, такой тревогой, у которой не видно ни начала, ни конца, тревогой в состоянии вечного покорения.

В бесконечно унылом небе, не обращая никакого внимания на этот мрачный

фон, гоняются друг за другом две птички... Их неприкрытая веселость гораздо лучше реабилитирует один древний инстинкт, чем вся эротическая литература вместе взятая.

Слезы восхищения — единственное оправдание этого мира, если он нуждается в таковом.

Из солидарности с только что умершим другом я закрыл глаза и безвольно погрузился в то подобие хаоса, которое предшествует сну. Через несколько минут мне показалось, что я ухватил ту бесконечно малую реальность, которая еще связывает нас с сознанием. Был ли я на пороге конца? Через мгновение я оказался на дне пучины, не испытывая при этом ни тени страха. Значит, перестать существовать — так просто? Разумеется, если бы смерть была всего лишь одним из опытов, но этот опыт единственный. Да и что за нелепая идея — *играть* с явлением, которое бывает лишь однажды! Уникальное невозможно испробовать.

Чем больше человек страдал, тем меньше он отстаивает свои права. Протест есть признак того, что человек никогда не испытывал мук ада.

Мало у меня своих забот, так мне не дают покоя еще и те, что были знакомы, наверное, даже пещерным людям.

Человек себя ненавидит, потому что не может забыть о себе, не может думать ни о чем другом. Это неизбежно приводит к тому, что чрезмерность пристального внимания повергает человека в отчаяние и он стремится ее преодолеть. Однако ненависть к себе — самая неэффективная стратегия для достижения такой цели.

Музыка — это иллюзия, которая искупает все другие.

(Если бы слову «иллюзия» было суждено исчезнуть, не знаю, что бы со мной стало.)

В состоянии бесстрастия никому не дано услышать биение Времени. Чтобы этого достичь, необходимо своего рода беспокойство — милость, приходящая к нам неизвестно откуда.

Тот, кто узрел пустоту и поклонялся шуньяте то явно, то тайно, не смог бы всецело отдаться богу ничтожному, воплощенному, индивидуальному. С другой стороны, не тронутая никаким присутствием, никакой человеческой заразой обнаженность, из которой удалена сама идея «личного», ставит под угрозу возможность какого бы то ни было культа, неизбежно связанного с сомнением в превосходстве личности. Ибо, согласно одному из махаянских гимнов: «Если все вещи пусты, кто кого должен прославлять?»

Сон гораздо лучше, чем время, излечивает печали. Зато бессонница, которая раздувает малейшую неприятность и обращает ее в удар судьбы, следит, чтобы наши раны не затягивались.

Вместо того чтобы обращать внимание на лица прохожих, я посмотрел на их ноги, и суетливость всех этих людей оказалась сведенной к торопливым шагам, устремленным... куда? И мне показалось очевидным, что наше предназначение состоит в том, чтобы топтаться в пыли в поисках некоей тайны, лишенной всякого серьезного значения.

Первое, о чем рассказал мне один друг, с которым мы долгие годы не виделись: издавна собирая коллекцию ядов, он так и не смог отравиться, ибо не знал, какой из них предпочесть...

Нельзя подрывать основы свои жизненных мотивов, не подрывая заодно основы своих *писательских* мотивов.

Нереальность — это очевидный факт, о котором я каждый день забываю и каждый день открываю его для себя заново. Эта комедия настолько глубоко проникла

в мою жизнь, что я не в силах провести между ними различие. Зачем это шутовское повторение, зачем этот фарс?

И все же это не фарс, потому что именно благодаря ему я принадлежу к сообществу живущих или делаю вид, будто к ним принадлежу.

Любой человек сам по себе, прежде чем пасть окончательно, уже является падшим в противоположность своему изначальному образцу.

Как объяснить, что факт небытия, колоссальное отсутствие, предшествующее нашему рождению, по-видимому, никого не волнует, а даже если и волнует кого-нибудь, то не слишком сильно?

По словам одного китайского мыслителя, один-единственный час счастья — это все, в чем может признаться доживший до ста лет человек, перед этим хорошенько подумав о превратностях собственной жизни.

ПЕРЕД ЛИЦОМ МГНОВЕНИЙ

... Раз уж все люди склонны к преувеличениям, почему долж
чением мудрецы?

Мне хотелось бы забыть обо *всем* и пробудиться, обратив лицо к свету, существовавшему до начала мгновений.

Меланхолия является искуплением этого мира, и вместе с тем именно она отделяет нас от него.

Молодость, проведенная в температурном режиме сотворения мира.

Сколько пережитых разочарований вызывают чувство горечи? Одно или тысяча в зависимости от субъекта.

Мыслительный процесс можно представить как ванну, наполненную ядом, как приятное времяпрепровождение мечтательной змеи.

Бог — существо в высшей степени обусловленное, раб рабов, узник собственных атрибутов, того, чем он *является*. Человек, напротив, имеет возможность некоторой игры в той мере, в какой он ничем не является и, обретая жизнь лишь на время, мечется внутри своей псевдореальности.

Ради самоутверждения жизнь продемонстрировала редкую изобретательность; не меньшую изобретательность она продемонстрировала ради самоотрицания. И чего только она не выдумывала, чтобы отделаться от самой себя! Смерть — несомненно лучшая ее находка, ее величайшее достижение.

Проплывали облака. В ночной тишине можно было услышать шуршание, которое они второпях издавали. Зачем мы здесь? Какой смысл может иметь наше ничтожное присутствие? Вопрос без ответа, на который, однако, я ответил инстинктивно, без тени раздумий и не стыдясь того, что изрекаю чудовищную банальность:

«Мы здесь для того, чтобы принять муки, и более ни для чего».

Если бы меня предупредили, что сейчас проходят последние мгновения моей жизни, все унося с собой, я, вероятно, не испытал бы ни страха, ни сожаления, ни радости. Полное отсутствие эмоций. Из того, что, как мне казалось, я еще чувствовал, уже исчезло всякое личное звучание, но, по правде говоря, я больше ничего не чувствовал, я пережил свои чувства, и все же я не был ходячим мертвецом, я, безусловно, был жив, но жив так, как бывает редко, как бывает только один раз.

Подражать отцам-пустынникам и вместе с тем испытывать волнение, слушая последние новости! Если бы я жил в первые века нашей эры, я бы примкнул к тем отшельникам, о которых сказано, что по прошествии какого-то времени они «устали от поисков Бога».

Хоть мы и так явились на свет слишком поздно, наши ближайшие потомки,

а тем более — потомки далекие, будут нам завидовать. В их глазах мы будем баловнями судьбы, и это правильно, ибо все стремятся быть как можно дальше от будущего.

Да не ступит сюда нога того, кто прожил хоть один день, не цепенея от изумления!

Наше место где-то между бытием и небытием, меж двумя вымыслами.

Другой — в этом надо сознаться — представляется нам как человек в бреду. Мы следим за его мыслью лишь до какого-то момента. После этого он неизбежно начинает уклоняться от темы, поскольку даже самые естественные его заботы кажутся нам неоправданными и необъяснимыми.

Нельзя требовать от языка усилий, непропорциональных его естественным возможностям, во всяком случае, нельзя пытаться извлечь из него максимум.

Не будем перегружать слова, иначе они, выбившись из сил, не смогут уже тянуть на себе бремя смысла.

Нет мысли более разрушительной и более успокаивающей, чем мысль о смерти. Наверное, именно благодаря этому двойному качеству она жуется и пережевывается до такой степени, что без нее уже не обойтись. Что за удача — найти в одном и том же мгновении яд и лекарство, открытие, которое вас убивает и оживляет, целительный яд!

Прослушав *Гольдберг-вариации* — говоря на языке мистиков, музыку «надсущностную» — мы закрываем глаза, ловя отголоски, которые она в нас пробудила. Все исчезает, кроме *бессодержательной* полноты, являющейся, безусловно, единственным способом приблизиться к Высшему.

Чтобы достигнуть освобождения, нужно верить в то, что все реально или же что все нереально. Но мы различаем лишь *степени* реальности, поскольку вещи кажутся

нам более-менее правдоподобными, существующими так или иначе. Вот почему мы никогда не знаем, как обстоят дела.

Серьезность вовсе не является атрибутом бытия; трагизм — да, потому что он несет в себе идею бессмысленности катаклизма, тогда как серьезность предполагает некий минимум целесообразности. Однако прелесть бытия — именно в том, чтобы не содержать в себе никакой цели.

Восхождение к божественному нулю, от которого происходит тот низший нуль, что составляет наше существо.

Каждый проходит через свой кризис Прометея, после чего ему остается либо этим гордиться, либо в этом раскаиваться.

Когда в витрине выставляют череп, это уже вызов; если же целый скелет — скандал. Даже если прохожий бросит на него лишь мимолетный взгляд, как он,

несчастный, вернется после этого к своим делам и с каким настроением влюбленный отправится на свидание?

Длительное же созерцание результатов нашей последней метаморфозы тем более способно лишь подавить желания и восторги.

...Итак, уходя, мне ничего не оставалось, как только проклинать этот стоячий ужас с его вечно оскаленной улыбкой.

«Когда птичка сна задумала свить гнездышко в моем зрачке, она увидела ресницы и испугалась быть пойманной в сети».

Кто лучше, чем Ибн Аль-Хамара, арабский поэт из Андалусии, почувствовал непостижимую глубину бессонницы?

Те мгновения, когда вам довольно одного воспоминания или даже чего-то менее значительного, чтобы выскользнуть за пределы этого мира.

Быть подобным бегуну, который в самый решающий момент остановился

посреди дистанции, чтобы попытаться постичь ее смысл. Раздумье — это признание того, что ты выдохся.

Желанная форма славы: подобно нашему прародителю, заварить от своего имени такую кашу, которая будет восхищать еще многие поколения.

«То, что непостоянно, есть боль; то, что есть боль, — это не моя самость. То, что не моя самость, — это не мое, я не это, это не я» («Самьютта Никая»).

То, что есть боль, — это не моя самость. Трудно, невозможно согласиться с буддизмом в этом пункте, который, однако, является ключевым. Для нас боль — самое что ни на есть личное, самая что ни на есть «самость». Что за странная религия! Она повсюду видит боль и в то же время объявляет ее нереальной.

На его лице теперь ни тени насмешки. Это потому, что он испытывал к жизни почти мелочную привязанность. У тех, кто не цеплялся за нее, на лице игра-

ет насмешливая улыбка — признак освобождения и победы. Они не уходят в небытие, они выходят из него.

Все приходит слишком поздно, все *существует* слишком поздно.

До того, как у него начались серьезные проблемы со здоровьем, это был ученый; но с тех пор... он *впал* в метафизику. Чтобы раскрыть в себе способность изменять свою сущность, необходимо содействие верных тебе несчастий, жаждущих повторяться.

Всю ночь тащить на себе Гималайские горы — и это называется *спать.*

На какие только жертвы я бы не пошел, чтобы только освободиться от этого жалкого «я», которое в это самое мгновение занимает во вселенной такое место, о котором ни один бог не смел и мечтать!

Чтобы умереть, нужно обладать невероятным смирением. Странно, что такое смирение обнаруживают все.

Суетливость и вечное монотонное бормотание этих волн поглотила, за ненадобностью, еще более бестолковая городская суета.

Когда, закрыв глаза, погружаешься в этот исходящий с обеих сторон гул, кажется, будто ты стал свидетелем готовящегося Сотворения мира, и вскоре теряешься в космогонических измышлениях.

Чудо из чудес: между тем первым толчком и гнусным местом, которого мы достигли, нет никакого промежутка.

Прогресс в любых формах есть извращение в том же смысле, в каком *бытие* — это извращенное небытие.

Напрасно в бессонные ночи вы испытывали такие страдания, которым позавидовал бы любой мученик: если они

не оставили следа на вашем лице, вам никто не поверит. За неимением свидетелей вы будете и дальше изображать из себя веселого шутника и, лучше всех разыгрывая эту комедию, сами же станете первым сообщником для скептиков.

Доказательство противоестественности великодушного поступка в том, что он вызывает — иногда сразу, иногда спустя месяцы или годы — чувство неловкости, в котором не смеешь признаться никому, даже самому себе.

Во время этой заупокойной службы речь шла только о *тьме* и *вечном сне,* и о том, что прах возвращается к праху. А затем, без всякого перехода, покойному обещали вечную радость и все, что из этого следует. Меня покоробила такая непоследовательность, так что я решил уйти, оставив и попа, и покойника.

Уходя, я не мог не подумать о том, что с моей стороны не слишком уместно возражать тем, которые так явно противоречат сами себе.

Какое облегчение — бросить в мусорную корзину рукопись — свидетельницу уже остывшей лихорадки, буйства, от которого осталась лишь подавленность!

Сегодня утром я *думал,* стало быть, земля ушла у меня из-под ног на добрых четверть часа...

Все, что доставляет неудобства, позволяет нам определить самих себя. Без недомогания нет личности. В этом счастье и несчастье организма, наделенного *сознанием.*

Если бы описать несчастье было так же просто, как и пережить его!

Ежедневный урок скромности: хоть на мгновение вспомнить о том, что когда-нибудь заговорят о наших *бренных останках.*

Мы настойчиво утверждаем, что существуют болезни воли, но забываем, что существование воли как таковой сомнительно и что изъявление воли не является *нормальным.*

После того как я несколько часов разглагольствовал, меня охватывает чувство пустоты. Пустоты и стыда. Разве это прилично — выставлять напоказ свои тайны, изливать душу, болтать о себе без умолку, в то время как наполнявшие мою жизнь мгновения приходили в тишине, когда я *вслушивался* в нее?

В юности Тургенев повесил в своей спальне портрет Фукье-Тенвиля.

Молодость — повсюду и всегда — идеализировала палачей, если те проявляли жестокость во имя туманных идей и громких слов.

В жизни, как и в смерти, одинаково мало содержания. К несчастью, человек

всегда узнаёт об этом слишком поздно, когда это знание уже не помогает ни жить, ни умереть.

Вы успокаиваетесь, забываете о своем враге, который не спит и ждет. Тем не менее в момент его нападения нужно быть готовым. Вы одержите над ним верх, ибо он будет ослаблен тем неимоверным расходом энергии, которого требует ненависть.

Из всего, что мы испытываем, ничто не дает такого ощущения причастности к самой истине, как приступы *беспричинного* отчаяния: рядом с этим все кажется несерьезным, фальшивым, лишенным и содержания, и занимательности.

Усталость, не зависящая от изношенности организма, вечная усталость, от которой не помогает никакой отдых и над которой не властен даже последний покой.

Все действует благотворно, если только ежеминутно не задаваться вопросом, в чем смысл наших поступков: всё следует предпочесть этому единственно важному вопросу.

Когда в свое время я занимался Жозефом де Местром, я объяснял характер моего персонажа, нагромождая одну за другой мелкие подробности, а мне следовало бы вспомнить о том, что ему удавалось спать не более трех часов в сутки. Одного этого достаточно, чтобы понять крайности, свойственные мыслителю или кому угодно другому. Тем не менее я так и не упомянул об этом факте. Это упущение тем более непростительно, что все человечество разделяется на *спящих* и *бодрствующих* — два вида существ, которые навсегда останутся чуждыми друг другу и которых объединяет лишь физический облик.

Мы вздохнули бы с облегчением, если бы в одно прекрасное утро узнали,

что почти все наши ближние испарились, словно по волшебству.

Надо иметь недюжинную предрасположенность к религии, чтобы убежденно произносить слово *«быть»;* нужно *веровать,* чтобы просто сказать о чем-то или о ком-то, что он *есть.*

Любое время года — это испытание: природа меняется и обновляется только затем, чтобы *ударить* по нам.

В основе даже самой незначительной мысли неуловимо присутствует легкое нарушение равновесия. Что же тогда сказать о том, кто был первоисточником мысли как таковой?

Если в примитивных обществах от стариков отделываются несколько поспешно, то в цивилизованных наоборот — им потакают и осыпают их почестями. Будущее без всяких сомнений сохранит лишь первую модель.

Что проку отрекаться от религиозных или политических верований — вы сохраните в себе те же упорство и нетерпимость, которые подвигли вас принять эти верования. Вы все равно будете неистовствовать, но ваша ярость будет направлена *против* отвергнутой веры; фанатизм, свойственный вашей натуре, выживет независимо от убеждений, которые вы можете либо защищать, либо отвергать. Сущность — ваша сущность — остается прежней, и изменить ее, меняя собственные мнения, вам вряд ли удастся.

«Зогар» ставит нас в тупик: если он говорит правду, то бедняк предстает перед Богом, имея только собственную душу, остальные же — не имея ничего, кроме тела.

Раз невозможно составить по этому поводу какое-либо мнение, лучше еще подождать.

Не стоит путать талант и остроумие. Чаще всего остроумие присуще дилетантам.

С другой стороны, как же иначе придать остроту истинам и заблуждениям?

Каждое мгновение я поражаюсь тому, что нахожусь именно в этом мгновении.

Из десятка грез, которым мы предаемся, только одна имеет смысл, да и то вряд ли! Все остальное — мусор, примитивно-тошнотная литературщина, картинки, намалеванные кретином.

Затянувшиеся грезы свидетельствуют о скудоумии «мечтателя», который, не умея вовремя поставить точку, безуспешно силится найти какую-нибудь развязку, подобно драматургу, нагромождающему сюжетные ходы, потому что не знает, как и где ему надо остановиться.

Мои неприятности, или скорее мои несчастья, проводят политику, недоступную моему пониманию. Бывает, они сговариваются друг с другом и идут вместе, а порой каждое идет своим чередом; очень часто между ними происходят столкнове-

ния, но независимо от того, пребывают они в согласии или в раздоре, они ведут себя так, будто их проделки меня не касаются, словно я всего лишь оторопевший зритель.

Для нас важно лишь то, чего мы не совершили, чего мы не могли совершить, так что от жизни остается только то, чем она не была.

Мечтать о таком разрушении, которое не пощадило бы ни одного из следов, оставленных первоначальным взрывом.



ОБОСТРЕНИЯ

Сустонский пруд, два часа пополудни. Я был на веслах. И вдруг меня потряс пришедший на память пример из словаря: All is of no avail (все бесполезно). Будь я один, я бы тут же бросился в воду. Никогда еще я так сильно не чувствовал необходимость покончить со всем этим.

Проглатывать биографию за биографией, чтобы еще более убедиться в никчемности любого предприятия, любой судьбы.

Случайно наталкиваюсь на некоего X. Я отдал бы все на свете, чтобы только не встречаться с ним больше никогда. Приходится же терпеть подобных

субъектов! Пока он говорил, я безутешно горевал о том, что не обладаю такой сверхъестественной силой, которая могла бы мгновенно уничтожить нас обоих.

Зачем еще нужно это тело, как не для того, чтобы дать нам понять значение слова «палач»?

Обостренное чувство смешного затрудняет, даже делает невозможным любой ничтожнейший поступок. Счастливы те, кому оно не дано! Должно быть, о них позаботилось Провидение.

На выставке искусства Востока представлена фигура многоголового Брахмы — озадаченного, мрачного, вконец одуревшего.

Вот таким мне нравится изображение бога богов.

Устал от всех. Но люблю посмеяться. Не могу же я смеяться один.

Поскольку я никогда не знал, к чему стремлюсь в этом мире, я все еще жду того, кто мог бы сказать мне, к чему стремится он сам.

На вопрос, почему монахи, следующие его учению, сияют от радости, Будда ответил: это оттого, что они не думают ни о прошлом, ни о будущем. И в самом деле, человек мрачнеет, как только подумает о том или о другом, и становится совершенно мрачным, как только подумает о том и другом сразу.

Как отвлечься от уныния: надолго закрыть глаза, чтобы позабыть свет дня и все, что он перед нами открывает.

Как только писатель начинает прикидываться философом, можно сказать с уверенностью, что он пытается спрятать множество своих недостатков. *Идея* — ширма, за которой ничего не скрывается.

Глаза вспыхивают одинаково внезапно как от восхищения, так и от зависти. Как же отличить одно от другого у тех, в ком нельзя быть уверенным?

Он звонит мне посреди ночи, чтобы сообщить, что не может уснуть. Я читаю ему настоящую лекцию об этом виде напасти, который в действительности и есть сама напасть. В конце концов я остаюсь настолько доволен своим выступлением, что возвращаюсь в кровать как герой, гордый тем, что не боюсь часов, отделяющих меня от прихода дня.

Публикация книги сопряжена ровно с теми же хлопотами, что женитьба или похороны.

Никогда не следовало бы писать ни о ком. Я настолько убежден в этом, что каждый раз, когда мне приходится этим заниматься, первая моя мысль — раскритико-

вать того, о ком мне нужно рассказать, *даже если я им. восхищаюсь.*

«И увидел Бог свет, что он хорош».

Такого же мнения придерживаются и смертные, за исключением страдающих бессонницей, для которых свет означает агрессию, еще один ад — более жестокий, чем ад ночи.

Наступает момент, когда само отрицание теряет свой блеск и, придя в негодность, выбрасывается — как банальная очевидность — в канализацию.

По мнению Луи де Бройля, «блистать остроумием» сродни тому, чтобы совершать научные открытия, ибо под остроумием здесь подразумевается способность «внезапно проводить неожиданные сопоставления».

Если бы это было так, немцы не могли бы совершать открытия в науке. Еще Свифт удивлялся, что за народом тугодумов числится такое огромное количество изобретений. Но изобретательство

предполагает наличие не столько быстроты ума, сколько настойчивости, способности углубляться, упрямо докапываться... Искра возникает из упорства.

Для того, кто движим манией углубления, не существует ничего скучного. Неуязвимый для скуки, он будет бесконечно распространяться о чем угодно, не щадя — если он писатель — своих читателей и даже не удостаивая их — если он философ — своим вниманием.

Я рассказываю одному американскому психоаналитику о том, как в поместье моей приятельницы я, закоренелый любитель рубить сучья, с остервенением набросился на сухие ветки какой-то секвойи, упал и чуть не сломал себе шею. «Вы набросились на это дерево с таким остервенением не затем, чтобы обрубить сучья, а чтобы наказать его за то, что оно живет дольше вас. Вы ненавидели его за то, что оно вас переживет, и тайно желали отомстить ему, обламывая его ветви».

...Такое способно навсегда отвратить вас от любого *углубленного* анализа.

Еще один янки, на сей раз профессор, пожаловался, что не знает, какую выбрать тему для предстоящего курса лекций.

— Почему бы не рассказать о хаосе и его чарующей притягательности?

— Мне это незнакомо. Я никогда не испытывал очарования подобного рода, — ответил он мне.

Легче найти понимание у чудовища, чем у антипода чудовища.

Я читал «Пьяный корабль» человеку, который раньше этой поэмы не знал, да и вообще был чужд поэзии.

«Допотопная штука», — заметил он сразу после прочтения. Что ж, это тоже мнение.

П. Ч. Это был настоящий гений. Буйство устного слова, происходящее от ужаса или невозможности писать. Тысячи острот, рассеявшихся по Балканам, утраченных навсегда. Как передать блеск его остроумия и его безумие? «В тебе смесь

Дон Кихота и Бога», — сказал я ему однажды. В тот момент он был польщен, но на следующий день пришел ко мне рано утром и заявил: «Про Дон Кихота мне не понравилось».

С десяти до четырнадцати лет я жил в одном семейном пансионе. Каждое утро по дороге в лицей, проходя мимо книжного магазина, я непременно бросал взгляд на книги, которые даже в этом провинциальном румынском городке менялись довольно часто. Но об одной из них в углу витрины, казалось, забыли на многие месяцы: Bestia umana («Человек-зверь» Эмиля Золя). Это название — единственное оставшееся от тех четырех лет воспоминание, преследующее меня.

Мои книги, *мое* творчество... Гротескная сторона этих притяжательных местоимений.

Все пропало, как только литература перестала быть анонимной. Декаданс начался с появления первого *автора*.

Когда-то давно я решил, что больше никогда не пожму руку человеку с отменным здоровьем. Тем не менее мне пришлось немного скорректировать свои взгляды, так как вскоре я обнаружил, что многие из тех, на кого я смотрел с подозрением, были подвержены этой напасти меньше, чем я думал. Зачем же наживать себе врагов, основываясь на одних только подозрениях?

Ничто так не мешает мыслить последовательно, как навязчивое ощущение собственного мозга. Быть может, в этом и состоит причина того, почему сумасшедшие мыслят лишь *проблесками*.

Этот прохожий — что ему надо? Зачем он живет? А этот ребенок, а его мать, а тот старик?

Во время этой проклятой прогулки никто в моих глазах не был удостоен милости. Наконец я вошел в мясную лавку, где висело нечто, напоминавшее половину

туши быка. При виде этого зрелища я едва не разрыдался.

Во время приступов ярости я с досадой чувствую, что уподобляюсь святому Павлу. Мое сродство с одержимыми, со всеми, кого я ненавижу. Кто еще мог когда-либо так походить на своих антиподов?

Более всего мне ненавистно планомерное сомнение. Я согласен сомневаться, но лишь когда мне этого захочется.

Следствие первоначальной Неэффективности... Недавно, желая глубже рассмотреть одну серьезную тему, которая мне никак не давалась, я прилег. Мои проекты часто приводили меня в кровать — предопределенный итог моих амбиций.

Кто-то всегда находится над вами: даже над Богом *возвышается* Небытие.

Погибнуть! — это мое любимое слово, которое, что весьма любопытно, отнюдь не вызывает у меня чувства непоправимости.

Как только мне необходимо с кем-нибудь встретиться, меня охватывает такое желание уединиться, что, когда я говорю, я теряю над своими словами всякий контроль, и этот вырвавшийся словесный поток принимается за остроумие.

О этот мир, так мастерски не удавшийся! — говорим мы себе каждый раз, когда бываем в снисходительном расположении духа.

Напыщенность несовместима с физической болью. Как только наши телеса подают нам сигнал, мы снова оказываемся сведены к своим нормальным размерам, к самой унизительной, самой опустошительной очевидности.

Какой повод для веселья — услышать слово «цель», когда идешь в похоронной процессии!

Люди умирали всегда, и тем не менее смерть совершенно не утратила своей новизны. Вот где покоится тайна из тайн.

Читать значит предоставлять другому корпеть за вас. Это самая утонченная форма эксплуатации.

Любой, кто цитирует по памяти, — это саботажник, которого следовало бы привлечь к судебной ответственности. Искаженная цитата — все равно что предательство, оскорбление, ущерб тем более серьезный, что нам хотели оказать услугу.

Беспокойные люди — кто они, если не мученики, которые озлобились,

поскольку не знают, ради кого принести себя в жертву?

Мыслить — значит подчиняться приказам и капризам непрочного здоровья.

Начав свой день в компании Мастера Экхарта, я обратился затем к Эпикуру. Но день еще не закончился: с кем я его завершу?

Стоит мне перестать говорить от первого лица, как я тут же засыпаю.

Тот, кто не верит в Судьбу, признается в том, что он никогда не жил.

Если б однажды мне довелось умереть.

Обгоняя меня, одна немолодая дама сочла нужным, не глядя в мою сторону, заявить: «Сегодня мне повсюду встречаются

одни ходячие мертвецы». Затем, по-прежнему не глядя в мою сторону, добавила:

— Я сошла с ума, не правда ли, мсье?

— Только самую малость, — с заговорщицким видом ответил ей я.

В каждом младенце видеть будущего Ричарда III...

В любом возрасте мы обнаруживаем, что жизнь — это заблуждение. Только в пятнадцать лет речь идет об открытии, к которому примешан холодок ужаса и капелька волшебства. Постепенно оно теряет свежесть, превращается в трюизм, и вот уже мы начинаем сожалеть о том времени, когда это открытие сулило нечто непредвиденное.

Весной 1937 года, когда я прогуливался в саду психиатрической больницы в городе Сибиу в Трансильвании, ко мне подошел один из ее «обитателей». Мы обменялись несколькими словами, а затем я сказал ему:

— Хорошо здесь.

— Еще бы. Стоит быть сумасшедшим, — ответил он мне.

— И все же вы находитесь в своего рода тюрьме.

— Если угодно, да, но здесь живешь без всяких забот. К тому же скоро война, — вы, как и я, это знаете. А здесь спокойно. Нас не мобилизуют, и потом никто не станет бомбить сумасшедший дом. На вашем месте я бы сразу туда лег.

Взволнованный и очарованный, покинув его, я постарался разузнать о нем побольше. Меня заверили, что он действительно сумасшедший. Правда это или нет, но никто и никогда не дал мне более разумного совета.

Предметом литературы является человеческая порочность. Писатель радуется порочности Адама и процветает лишь в той мере, в какой каждый из нас принимает ее и воспроизводит.

Если взять природу, то здесь малейшее новаторство оказывается разрушительным. Жизнь консервативна, она расцветает

лишь благодаря повторению, клише, помпезности. Полная противоположность искусству.

Чингисхан брал с собой в походы величайшего даосского мудреца своего времени. Крайняя жестокость редко бывает обыкновенной: в ней всегда присутствует что-то странное и утонченное, вызывающее страх и почтение. Вильгельм Завоеватель, столь же беспощадный к своим соратникам, как и к своим врагам, любил исключительно диких зверей и лесные дебри, где гулял всегда в одиночестве.

Я собирался уходить, когда, чтобы поправить шарф, посмотрел на себя в зеркало. Внезапно меня обуял невыразимый ужас: *кто это?* Я не мог себя узнать. Хотя я узнавал свое пальто, галстук, шляпу, тем не менее я не знал, кто я такой, потому что я не был *собой.* Это длилось несколько секунд: двадцать, тридцать, сорок? Но когда мне удалось вновь обрести себя, ужас остался. Пришлось долго ждать, пока он соблаговолит рассеяться.

Чтобы построить свою раковину, устрица должна пропустить через себя такое количество морской воды, которое в пятьдесят тысяч раз превышает ее собственный вес.

...Куда меня занесло в поисках уроков терпения!

Где-то прочел утверждение: «Бог говорит только о самом себе».

Вот здесь у Всевышнего есть немало соперников.

Быть или не быть.

...Ни то, ни другое.

Стоит мне наткнуться на какое-нибудь буддийское изречение, и каждый раз во мне пробуждается желание вернуться к этой мудрости, которую я в течение довольно длительного времени пытался усвоить и от которой я по непонятной причине несколько отдалился. Именно она заключает в себе не столько истину, сколько нечто

лучшее. И именно благодаря ей достигаешь того состояния, в котором очищаешься от всего, в первую очередь от иллюзий. Не иметь больше никаких иллюзий, не рискуя при этом, однако, испытать крах; погрузиться в разочарование, избежав при этом ощущения горечи; с каждым днем шаг за шагом освобождаться от слепоты, в которой влачат свое существование все эти полчища живущих.

Умереть значит сменить жанр, обновиться.

Не следует доверять мыслителям, ум которых работает, лишь отталкиваясь от какой-либо цитаты.

Если взаимоотношения между людьми представляют такие трудности, то это потому, что люди были созданы, чтобы бить друг другу морды, а не ради каких-то «взаимоотношений».

Разговор с ним был столь же условен, как и с человеком, бьющимся в предсмертной агонии.

Прекращение существования ничего не значит, оно не может ничего значить. К чему заботиться о том, что останется после не-реальности, заботиться о видимости, которая приходит на смену другой видимости? Смерть — это на самом деле ничто; самое большее, чем она может быть, — это подобие тайны, так же как и сама жизнь. Кладбища — это антиметафизическая пропаганда...

В детстве меня манил один образ: образ крестьянина, который, недавно получив наследство, кочевал из трактира в трактир вместе с неким «музыкантом». Великолепный летний денек, все жители деревни в поле, и только он со своим скрипачом бродит по пустынным улицам, напевая какой-нибудь романс. Через два года он снова оказался в такой же нищете, как и раньше. Но боги проявили милосердие:

вскоре после этого он умер. Сам не зная почему, я был очарован, и не без основания. Теперь, когда я думаю о том крестьянине, я по-прежнему считаю, что он действительно был личностью и что из всех жителей деревушки только у него достало внутреннего размаха, дабы искалечить свою жизнь.

Хочется рычать, плевать людям в лицо, таскать их по земле, топтать...

Я приучил себя к благопристойности, чтобы подавить собственную ярость, и теперь она старается мстить мне как можно чаще.

Если бы меня попросили как можно более сжато изложить свое видение мира, выразить его самым лаконичным образом, вместо слов я поставил бы восклицательный знак, окончательный «!».

Сомнение проникает всюду, за одним очень важным исключением: музыка не бывает *скептичной*.

Демосфен восемь раз собственноручно переписал Фукидида. Вот так нужно учить язык. Следовало бы собраться с духом и переписать все книги, которые любишь.

То, что кто-то питает отвращение к нашим деяниям, мы еще более или менее допускаем. Но если он пренебрегает книгой, которую мы ему посоветовали, это уже гораздо серьезнее, это оскорбляет нас, как удар исподтишка. Значит, ставятся под сомнение и наш вкус, и даже наше здравомыслие!

Когда я *наблюдаю* за своим погружением в сон, у меня создается впечатление, будто я опускаюсь в бездну, ниспосланную провидением, вечно буду падать в нее и никогда не смогу оттуда выбраться. Впрочем, у меня не возникает и тени желания выбираться оттуда. Переживая эти мгновения, я желаю лишь прочувствовать их как можно отчетливее, ничего не упустить и насладиться каждым из них вплоть до

последнего, прежде чем исчезнет сознание и наступит блаженство.

Последний значительный поэт Рима Ювенал и последний крупный писатель Греции Лукиан *работали* в ироничной манере. Обе литературы завершились иронией. Вот так, наверно, все и закончится — и в литературе, и вне ее.

Это возвращение в неорганическое состояние никоим образом не должно нас огорчать. Тем не менее столь плачевное, если не сказать смехотворное, явление превращает нас в трусов. Пора *переосмыслить* смерть, выдумать менее посредственный конец.

Здесь я чувствую себя потерянным, как, вероятно, чувствовал бы себя потерянным где угодно.

Не может быть *чистых* чувств между теми, кто идет схожими путями. Достаточно вспомнить, какие взгляды броса-

ют друг на друга дамы, встретившиеся на одном тротуаре.

Скучая, мы постигаем несравненно больше, чем работая, поскольку *усилие* — смертельный враг размышления.

Казалось бы, перейти от презрения к отрешенности легко. Однако это не столько переход, сколько некий подвиг, свершение. Презрение — это первая ступень к победе над миром; отрешенность — последняя и наивысшая. Расстояние, которое их разделяет, совпадает с тем путем, который ведет от свободы к освобождению.

Я не встречал ни одного помешанного, который бы не интересовался Богом. Следует ли из этого заключить, что существует некая связь между поиском абсолюта и расстройством ума?

Любой червяк, возомнивший себя первым среди равных, тут же обрел бы статус человека.

Если бы в памяти моей стерлось все, за исключением следов, оставшихся от того неповторимого, что мне довелось познать, то откуда же еще они могли бы взяться, как не из жажды обрести небытие?

Сколько упущено возможностей пойти на компромисс с Богом!

Безудержная радость, если она длится, больше похожа на безумие, чем хроническое уныние, которому размышление или даже простое наблюдение находят оправдание, тогда как неуемная радость, проявляемая другим человеком, свидетельствует о некоем нарушении. Если радость, вызванная простым фактом существования, заставляет встревожиться, то быть печальным, даже не умея еще говорить, наоборот, считается нормой.

Счастье романиста или драматурга заключается в том, чтобы выражать себя, переодеваясь, освобождаться от внут-

ренних конфликтов и, более того, — от всех этих персонажей, которые борются в нем! Иначе обстоит дело с эссеистом, ограниченным рамками неблагодарного жанра, в котором нельзя выразить свои внутренние противоречия, не споря с самим собой на каждом шагу. Свободнее чувствуешь себя в афоризме — триумфе разрозненного «я»...

Я думаю сейчас о человеке, которым я безгранично восхищался, который не сдержал ни одного из своих обещаний и который, обманув всех, кто в него верил, умер как нельзя более удовлетворенным.

Слово восполняет недостаточность лекарств и излечивает от большинства наших хворей. Болтун не бегает по аптекам.

Жизнь, импровизация, фантазия материи, эфемерная химия... Поразительное отсутствие в этом ряду необходимости.

Великая и единственная оригинальная черта любви в том, что она делает счастье неотличимым от несчастья.

Письма, письма, которые надо написать. Например, это... но не могу: я вдруг чувствую, что не в состоянии *лгать*.

В этом парке, который, как и усадьба, предназначен для нелепых нужд благотворительности, повсюду кишат старухи, живущие лишь благодаря медицинским манипуляциям. Прежде люди умирали у себя дома в достойном одиночестве и заброшенности, а теперь умирающих собирают вместе, окружают их заботами и насколько возможно продлевают их неподобающее околевание.

Стоит нам избавиться от одного недостатка, как на смену ему уже торопится другой. Вот цена нашего равновесия.

Слова сделались для меня настолько чужими, что одно соприкосновение с ними становится героическим поступком. Между нами больше нет ничего общего, и если я все еще пользуюсь словами, то лишь затем, чтобы обличать их, причем втайне я оплакиваю вечно неотвратимый разрыв.

В Люксембургском саду дама лет сорока — почти элегантная, но выглядящая скорее странно — нежно и даже страстно разговаривала с кем-то невидимым... Догнав ее, я заметил, что она прижимает к груди обезьянку. Наконец дама уселась на скамейку, где с той же горячностью продолжила свой монолог. Первые слова, которые я услышал, проходя мимо нее, были: «Знаешь, мне все это надоело». Я ушел прочь, не зная, кого больше жалеть — даму или ее наперсницу.

Человек *скоро* исчезнет, до недавнего времени я был в этом твердо убежден.

Теперь я изменил свое мнение: он *должен* исчезнуть.

Отвращение ко всему человеческому совместимо с жалостью, я бы даже сказал, что эти проявления взаимосвязаны, но не одновременны. Только тот, кому ведомо отвращение, способен остро испытывать жалость.

Только что я вдруг ощутил себя последним вариантом Вселенной. Вокруг меня вращались миры. Ни малейшего намека на отсутствие равновесия. Это было всего лишь чувство, намного *превышающее* границы дозволенного.

Проснуться внезапно, спрашивая себя, есть ли какой-либо смысл в слове *«смысл»,* и потом еще удивляться, что не можешь заснуть!

Боли свойственно не стыдиться самоповторения.

Тому старинному другу, который сообщил мне, что решил покончить с собой, я ответил, что торопиться не стоит, что финал игры не совсем лишен привлекательности и что можно прийти к согласию даже с Невыносимым, если только не забывать о том, что все блеф — блеф, порождающий страдания...

В течение двух веков Людовика XVI обвиняли в слабоумии за то, что он поставил в дневнике: «Ничего не произошло» под датой, которая отметила начало его гибели. В этом смысле мы все слабоумны: кто из нас может похвастать, что точно знает, когда покатился вниз?

Он работал и производил, он бросался в тяжеловесные обобщения и сам удивлялся собственной плодовитости. К счастью для него, ему был неведом кошмар оттенков.

Существование является столь очевидным отклонением от нормы, что благо-

даря этому оно приобретает притягательность идеального уродства.

Без конца находить в себе все эти низменные инстинкты, которых стыдишься. Если они так мощно проявляются в человеке, который изо всех сил старается от них избавиться, насколько ярче они должны выражаться в тех, кто, за отсутствием маломальской ясности ума, никогда не сможет следить за собой и тем более себя возненавидеть.

На пике взлета или падения стоит вспомнить о том, каким образом ты был зачат. Нет лучшего средства, чтобы подавить в себе эйфорию или скверное настроение.

Только растение приближается к «мудрости»; животное на это не способно. Что же касается человека... Природе следовало бы остановиться на растительном мире, вместо того чтобы позориться, стремясь к необычному.

Молодые и старики, да и остальные тоже — все они отвратительны, усмирить их можно только лестью, что в конечном счете делает их еще отвратительнее.

«Небо ни для кого не открыто... оно откроется лишь после исчезновения мира» (Тертуллиан).

Поразительно, что после такого предупреждения люди все равно продолжали суетиться. Плодом какого упорства является история!

Доротея де Родде-Шлёцер во время поездки в Париж вместе со своим мужем, мэром Любека, на торжества по случаю коронации Наполеона пишет: «На земле, и в особенности во Франции, столько сумасшедших, что этот корсиканский фокусник просто забавляется, заставляя их плясать, как марионеток, под свою дудочку. Они все, как крысы, бегут вслед за этим заклинателем, и никто не спрашивает, куда он их ведет».

Времена завоеваний — это времена безумств; времена упадка и отступления по сравнению с ними более рассудочны, даже слишком рассудочны, и поэтому они почти столь же роковые, как и все прочие.

Мнениям — да, убеждениям — нет. Такова отправная точка интеллектуальной гордыни.

Мы привязываемся к какому-либо существу тем сильнее, чем неустойчивее в нем инстинкт самосохранения, если не сказать, что он угас совсем.

Лукреций: о его жизни точно ничего не известно. Точно? Даже смутно ничего не известно.

Завидная судьба.

Ничто не сравнится с приливом тоски в **самый момент пробуждения.** Он **отбрасывает** вас на **миллиарды лет** назад

к первым знакам, к предвестникам бытия, в общем, к самым истокам тоски.

«Тебе не нужно заканчивать свою жизнь на кресте, ибо ты родился распятым» (11 декабря 1963 года).

Чего бы я только не дал, чтоб вспомнить, что вызвало во мне столь дерзкое отчаяние!

Вспоминается, с какой яростью Паскаль в своих «Письмах к провинциалу» выступал против казуиста Эскобара, который, по словам одного французского путешественника, нанесшего ему визит в Испании, совершенно не подозревал об этих нападках. Впрочем, Эскобар был едва ли известен в собственной стране.

Куда ни глянь — везде недоразумение и ирреальность.

Сколько друзей и врагов, в одинаковой степени проявлявших к нам интерес, ушли один за другим. Какое облегчение! Наконец-то можно расслабиться и

больше не бояться ни их цензуры, ни их разочарований.

Выносить обо всем, включая смерть, непримиримые суждения — это единственный способ обойтись без обмана.

Согласно учению Асанги и его школы, победа добра над злом есть не что иное, как победа майи над майей; точно так же, через озарение положить конец переселению души — это все равно, как если бы «один король иллюзии был победителем над другим королем иллюзии» (Махаяна-сутраланкара).

Эти индусы имели смелость так высоко ставить иллюзию, сделать ее субститутом «я» и мира и превратить ее в высшую данность. Выдающееся превращение, последний и безвыходный этап. Что поделаешь? Поскольку любая крайность, даже освобождение, является тупиком, как выйти из него, чтобы вновь вернуться к Возможному? Быть может, следовало бы умерить споры, облечь вещи тенью реальности, ограничить гегемонию ясновидения, осмелиться утверждать, что всё, что

выглядит существующим, существует по-своему, а затем, устав от рассуждений, сменить тему...

ЭТО ПАГУБНОЕ ЯСНОВИДЕНИЕ

Каждое событие есть не что иное, как еще одно дурное предзнаменование. Однако время от времени случается какое-нибудь исключение, которое раздувается летописцем, чтобы создать иллюзию чего-то неожиданного.

Зависть — явление всеобщее, и лучшее тому доказательство состоит в том, что она проявляется даже у душевнобольных во время кратких просветлений их разума.

Нас соблазняют любые аномалии, и в первую очередь Жизнь — аномалия в полном смысле слова.

Стоя — мы без трагизма признаем, что каждое уходящее мгновение исчезает навсегда; когда мы *лежим,* этот очевидный факт кажется настолько неприемлемым, что нам хочется никогда больше не вставать.

Вечное возвращение и прогресс — два нонсенса. Что же остается? Смирение перед становлением, перед сюрпризами, которые таковыми не являются, перед бедствиями, претендующими на необычность.

А если начать с того, что уничтожить всех, кто способен жить только на сцене!

По натуре пылкий, при выборе колеблющийся. Куда склониться? В *чью* пользу сделать выбор? На сторону какого «я» встать?

Нужно обладать стойкостью и в пороках и в добродетелях, чтобы удержаться на поверхности, чтобы сохранить взятую скорость, которая необходима нам, чтобы сопротивляться соблазну потерпеть крушение или разразиться рыданиями.

«Вы часто говорите о Боге. Это слово, которым я больше не пользуюсь», — пишет мне одна бывшая монашка.

Не всем удалось потерять к нему интерес!

Те ночи, когда за неимением наперсника мы вынуждены обращаться к Тому, кто играл эту роль веками, тысячелетиями.

Ирония, изощренная, слегка желчная дерзость, — это искусство знать, где остановиться. Она исчезает при малейшем углублении. Если вы склонны упорствовать, вы рискуете потонуть вместе с ней.

Чудесно то, что каждый день приносит нам новый повод умереть.

Поскольку мы помним только свои унижения и поражения, к чему тогда было все остальное?

Когда спрашиваешь себя о сути чего бы то ни было, хочется кататься по земле. Во всяком случае, именно так я когда-то отвечал на главные вопросы, на вопросы без ответов.

Открыв пособие по доисторической культуре, я наткнулся на изображение нескольких разновидностей наших предков, жутких донельзя. Без всякого сомнения, такими они и должны были быть. От отвращения и стыда я быстро захлопнул книгу, зная при этом, что буду открывать ее всякий раз, когда мне понадобится остановиться подробнее на происхождении наших мерзостей и гадостей.

Жизнь выделяет секрет антижизни, и эта химическая комедия не вызывает у нас улыбки, а вместо этого гложет нас и сводит с ума.

Потребность в самоедстве избавляет от потребности верить.

Если бы гнев был атрибутом Всевышнего, я бы уже давно превзошел свой статус смертного.

Существование могло бы найти себе оправдание, если бы каждый вел себя так, как будто он последний из живущих.

Игнатий Лойола, терзаемый сомнениями, суть которых он не уточняет, рассказывает, что у него возникала мысль покончить с собой. Даже он! Этот соблазн, несомненно, распространен шире и укоренился глубже, чем думают. На самом деле

он делает человеку честь, пока не становится для него долгом.

К творчеству склонен только тот, кто ошибается в отношении себя, кто не знает тайных мотивов собственных поступков. Творец, который стал понятен самому себе, перестает творить. Знание себя раздражает *демона*. В этом следует искать причину того, почему Сократ ничего не написал.

То, что нас могут оскорбить даже те, кого мы презираем, умаляет цену гордости.

В одном произведении, великолепно переведенном с английского, был только один недочет: «бездны скептицизма». Нужно было сказать «сомнения», так как слово «скептицизм» по-французски содержит в себе оттенок дилетантства, даже легкомыслия, не сочетаемый с идеей пропасти.

Любовь к формулировкам сродни слабости к истолкованиям, к тому, что имеет наименьшее отношение к реальности.

Все, что можно классифицировать, тленно. Вечно лишь то, что поддается многочисленным интерпретациям.

В борьбе с листом белой бумаги — какое меня ожидает Ватерлоо!

Когда разговариваешь с кем-либо, то насколько бы ни были велики его заслуги, никогда нельзя забывать, что в глубине души он ничем не отличается от обычных смертных. Из предосторожности следует обращаться с ним бережно, ибо, как и любой другой, он не перенесет откровенности — непосредственной причины почти всех ссор и злобы.

Едва избежал всех форм падения, в том числе и успеха.

До нас не дошло никаких писем Шекспира. Неужели он ни одного не написал? Хотелось бы послушать, как Гамлет жалуется на обилие корреспонденции.

Важная заслуга клеветы в том, что она создает вокруг вас пустоту, а вы сами при этом и пальцем не пошевелите.

Безнадежное отвращение к толпе — независимо от того, радуется она или хмурится.

Все вырождалось испокон веков. Однажды установив такой диагноз, человек может высказывать любые крайние суждения, он даже обязан это делать.

Если события почти всегда нас опережают, то это потому, что стоит лишь немного подождать, и мы заметим, что сами виноваты в собственной наивности.

Страсть к музыке сама по себе является признанием. О незнакомце, который предается этой страсти, мы узнаем больше, чем о человеке, с которым мы общаемся каждый день, но который не чувствует музыку.

На исходе ночи. Никого не осталось, вы в обществе одних только минут. Каждая из них делает вид, будто она с нами, а потом бежит от нас — измена за изменой.

Принятие в расчет обстоятельств свидетельствует о серьезном искажении. Тот, кто говорит «живущий», говорит «пристрастный»: объективность — этот запоздалый феномен, тревожный симптом — есть начало капитуляции.

Надо, подобно ангелу или идиоту, мало что смыслить в происходящем, чтобы поверить, что безрассудная авантюра человечества может окончиться благополучно.

Способности неофита растут и крепнут под воздействием его новых убеждений. Это ему известно; но он не знает того, что пропорционально им растут и его капризы. Здесь берут начало его химеры и его гордыня.

«Дети мои, соль происходит из воды, а если она вступает с водой в контакт, она растворяется и исчезает. Точно так же и монах рождается от женщины, но если он с нею сближается, он растворяется и перестает быть монахом».

По-видимому, этот Иоанн Мосх, живший в VII веке, лучше, чем позднее это сделали Стриндберг или Вейнингер, понял опасность, о которой говорилось в Книге Бытия.

Любая *жизнь* — это история сокрушительного падения. Если биографии так захватывают, то это потому, что герои, так же как и трусы, вынуждены совершенствоваться в искусстве терпеть поражение.

Разочаровавшись во всех, неизбежно приходишь к разочарованию в самом себе; если только с этого не начал.

«С тех пор как я изучаю людей, я научился лишь еще больше любить их», — писал Лафатер, современник Шамфора. Подобное замечание, звучащее нормально в устах жителя какой-нибудь швейцарской деревушки, показалось бы неподобающе простодушным в устах парижанина, посещающего салоны.

Сожаление о том, что ты не заблуждался, как все остальные, ярость оттого, что ты видел все в правильном свете, — вот тайная беда многих, кто не обманывается.

Как я мог хоть на миг смириться с тем, что не вечно? Однако такое со мной случается... сейчас, например.

Каждый цепляется как может за свою несчастную звезду.

Чем старше человек становится, тем чаще замечает, что, полагая, будто освободился ото всего, на самом деле он ни от чего не свободен.

На загнивающей планете следовало бы воздержаться от того, чтобы строить планы, но мы все равно их строим, поскольку оптимизм, как известно, — это судорога умирающего.

Размышление — это состояние бодрствования, поддерживаемое неясной тревогой, одновременно и опустошительной, и благословенной.

Он отказывался жить, покорно плетясь вслед за Богом.

Первородный грех и Переселение душ: оба связывают судьбу с *искуплением,* вне зависимости от того, идет ли речь о грехе первого человека или о тех, что мы допустили в наших прежних жизнях.

Кружась в танце, облетают последние листья. Нужна большая доза бесчувственности, чтобы противостоять осени.

Мы думаем, будто идем к той или иной цели, забывая, что на самом деле мы идем к цели как таковой, — в общем, к полному крушению всех целей.

Всегда подлинная, Боль — это вызов всеобщей мнимости. Как ей повезло, что она является единственным ощущением, лишенным содержания и даже смысла!

Despondency — это слово, несущее в себе все оттенки уныния, могло бы послужить ключом к моим годам, эмблемой

моих мгновений, моего упорства в отрицании, моего отказа от любого будущего.

Когда пропадает желание проявлять себя, находишь убежище в музыке — добром гении всех, кто страдает безволием.

Поскольку доводы в пользу того, чтобы продолжать свое существование, кажутся все менее обоснованными, нашим последователям будет легче, чем нам, избавиться от пристрастия к нему.

Стоит нам обрести в чем-нибудь хоть малейшую уверенность, и мы перестаем относиться с недоверием к себе и другим. Доверие во всех его формах является источником действия, а значит, ошибки.

Когда встречаешь кого-то *подлинного,* это так удивительно, что начинаешь спрашивать себя, не стал ли ты жертвой ослепления.

К чему вести счет книгам-утешительницам, ведь хотя имя им легион, только две-три из них имеют значение?

Если не хочешь околеть с досады, оставь в покое свою память, не копайся в ней.

Все, что подчиняется законам жизни, — а значит, все то, что гниет, — побуждает меня к столь противоречивым размышлениям, что они граничат с умопомешательством.

Жить в страхе, что тебе везде суждено томиться от скуки, даже в Боге... Именно в неотвязной мысли об этой запредельной скуке я вижу причину своего духовного несовершенства.

Эпикуреизм или стоицизм — что выбрать? Я перехожу от одного к другому и чаще всего храню верность обоим сразу, что является моей манерой соглашаться

с изречениями, которая была свойственна Античности до того, как ее наводнили догмы.

Бездействию мы обязаны тем, что оно предохраняет нас от инфляции, которая подстерегает многих из-за избытка тщеславия, труда или таланта. Если не утешительно, то, во всяком случае, лестно сказать себе, что умрешь, так и не проявив себя в полной мере.

Кричал о своих сомнениях на всех углах и вместе с тем причислял себя к той школе скромности, которая называется скептицизмом.

Зануды, расхитители нашего времени, оказывают нам огромную услугу, мешая оставить после себя полную выставку наших талантов.

Мы вольны любить кого угодно, за исключением себе подобных именно потому, что они похожи на нас.

Этого факта достаточно, чтобы объяснить, почему история такова, какова она есть.

Большинство наших бед ведут свое начало издалека, от того или иного нашего предка, которого погубили собственные излишества. Мы наказаны за его невоздержанность: нет нужды пить — он уже выпил все за нас. Похмелье, которое нас столь поражает, — это цена, которую мы платим за его эйфорию.

Тридцать лет экстатического поклонения Сигарете. Теперь, когда я вижу, как другие приносят жертвы моему бывшему идолу, я их не понимаю, я считаю их свихнувшимися или тупицами. Если побежденный «порок» становится нам до такой степени чуждым, как не остолбенеть перед тем пороком, которому мы еще не предавались?

Чтобы обмануть меланхолию, нужно беспрерывно двигаться. Стоит остано-

виться, и она вновь просыпается, если только она вообще когда-либо дремала.

Желание работать приходит ко мне лишь тогда, когда у меня назначена встреча. Я всегда иду туда, уверенный в том, что упускаю единственную возможность превзойти самого себя.

«Я не могу обходиться без вещей, до которых мне нет никакого дела», — любила повторять герцогиня дю Мен.

Легкомыслие, доведенное до такой степени, есть предвестие аскетизма.

Если бы Всемогущему было дано вообразить себе, как тяжко мне бывает порой совершить хоть малейшее действие, в порыве милосердия он не преминул бы уступить мне свое место.

Если не знаешь, в какую сторону идти, лучше предпочесть бессвязное размышление — отражение времени, разлетевшегося в клочья.

То, что я *знаю,* уничтожает то, чего я *хочу.*

Возвращаясь из крематория. Мгновенное обесценивание Вечности и всех остальных слов с Большой Буквы.

Состояние невообразимой подавленности, а затем выход за пределы вселенной и за пределы прочности мозга.

Мысль о смерти порабощает тех, кого она преследует. Она освободительна лишь в начале; потом она перерождается в наваждение, переставая, таким образом, быть мыслью.

Мир есть божественная случайность, accidens Dei. Насколько справедлива формулировка Альберта Великого!

По милости хандры мы вспоминаем о тех гнусностях, что зарыты в самой

глубине нашей памяти. Хандра эксгумирует наш позор.

В наших жилах течет кровь макак. Если бы мы думали об этом чаще, в конце концов мы сдали бы свои позиции. Никакой теологии, никакой метафизики, — лучше сказать, никаких разглагольствований, никакого высокомерия, никакой напыщенности, вообще...

Мыслимо ли принять религию, которую основал *другой?*

Оправдание Толстого как проповедника в том, что у него было два ученика, которые извлекли из его проповедей практические выводы: Витгенштейн и Ганди. Первый раздал свое имущество, а второму нечего было раздавать.

Мир рождается и умирает вместе с нами. Существует только наше сознание, оно есть вселенная, и эта вселенная исчезает вместе с ним. Умирая, мы ничего не

оставляем. К чему же тогда столько церемоний вокруг события, которое не является таковым?

Наступает момент, когда подражаешь уже только самому себе.

Внезапно проснувшись и желая потом снова заснуть, нужно отбросить любые поползновения к раздумьям, любые намеки на мысль. Потому что именно мысль сформулированная, четкая — злейший враг сна.

Неприятный тип, непризнанный гений, он тянет одеяло на себя. Его насмешки не в состоянии уравновесить те похвалы, которыми он беспрерывно награждает самого себя и которые с лихвой заменяют те, которыми его не наградили другие. Уж лучше те счастливчики — и вправду редкие, — которые после победы умеют при случае уйти в тень. Как бы то ни было, они не тратят силы на самообвинения, а их тщеславие льет бальзам на наше высокомерие непонятых.

Если время от времени нас соблазняет вера, то лишь потому, что она предлагает иной вид смирения: все лее лучше оказаться в зависимости от Бога, нежели от человекообразного существа.

Утешить кого-либо можно, только потакая его скорби, и так до тех пор, пока скорбящему не надоест скорбеть.

К чему нам столько воспоминаний, всплывающих из памяти без видимой на то необходимости, если не для того, чтобы открыть нам, что с возрастом мы начинаем смотреть на свою жизнь со стороны, что эти далекие «события» уже не имеют к нам никакого отношения и что однажды то же самое произойдет и с теперешней нашей жизнью?

Выражение «вселенная есть ничто», принадлежащее мистикам, — всего лишь предварительный этап перед растворением в этой вселенной, которая становится

удивительно явственной, то есть действительно *вселенной*. Это преобразование не произошло во мне, поскольку позитивная, светлая часть мистики мне недоступна.

Находясь между требованием быть понятным и соблазном изъясняться темно, невозможно решить, что из них заслуживает большего уважения.

Мысленно перебрав всех тех, к кому должен был бы испытывать зависть, приходишь к выводу, что не хотел бы поменять свою судьбу ни на чью другую. Такова общая реакция. Как тогда объяснить, что зависть — самая древняя и самая бодрая среди всех человеческих слабостей?

Трудно не испытывать ненависти к другу, который оскорбил вас в припадке бешеной ярости. Напрасно повторять, что он был не в себе: вы реагируете так, как будто на сей раз он открыл перед вами какую-то доселе надежно скрываемую тайну.

Если бы Время являлось имущественным достоянием, *собственностью,* то смерть была бы наихудшей формой ограбления.

Отказ от мести льстит нам лишь наполовину, ведь мы никогда не узнаем, на чем основано наше поведение — на благородстве или на трусости.

Познание, или преступная нескромность.

Тщетно надеяться на то, что удастся побыть одному. Всегда в компании с самим собой!

Не будь воли, не было бы и конфликтов: с больными абулией никаких трагедий. Тем не менее отсутствие воли ощущается порой больнее, чем трагическая судьба.

Худо-бедно человек приспосабливается к любому фиаско, кроме смерти — подлинного фиаско.

Совершив низкий поступок, никак не решаешься в нем сознаться, указать виновного, погружаешься в бесконечные раздумья, которые являются не чем иным, как еще одной низостью, ловко сглаженной, однако, стыдом и угрызениями совести.

На рассвете с облегчением обнаруживаешь, что бесполезно докапываться до сути чего бы то ни было.

Если бы тот, кого называют Богом, не был истинным символом одиночества, я никогда не уделил бы ему ни малейшего внимания. Но поскольку меня всегда живо интересовали чудовища, то как я мог упустить из виду их противника, более одинокого, чем они все?

Любая победа в той или иной степени является ложью. Она лишь поверхностно

затрагивает нас, в то время как поражение — каким бы незначительным оно ни было — задевает самое нутро, где оно постарается сделать все, чтобы мы о нем не забыли, так что в любой ситуации мы можем рассчитывать на его общество.

Какое количество пустоты я накопил в себе, сохраняя при этом свой статус личности! Это чудо, что я не взорвался под давлением такого объема небытия!

Если бы не аура Неизлечимости, тоска стала бы самой непереносимой из всех бед.

Меня давило сознание собственной мерзости. Никакие доводы не могли ни победить его, ни ослабить. Напрасно я вспоминал о том или ином достойном деянии — ничего не помогало. «Ты всего лишь статист», — повторял мне чей-то уверенный голос. В конце концов, совершенно вне себя, я ответил ему с нарочитым пафосом: «Называть меня так — это уж слишком. Неужели первый встречный должен

в ожидании лучших времен стать заклятым врагом планеты — да что там! — врагом всей вселенной?»

Умереть значит доказать, что знаешь, в чем твоя выгода.

Мгновение, которое отрывается от всех остальных, освобождается и предает их, — с какой радостью мы приветствуем его неверность!

Если бы знать, когда моему мозгу придет *срок!*.

Если не изменить все полностью, — так, впрочем, никогда не бывает, — то никто не сможет разрешить собственных противоречий. Только смерть помогает это сделать, здесь она преуспевает, и в этом она превосходит жизнь.

Выдумал смертоносную улыбку.

На протяжении тысячелетий мы были всего лишь смертными; и вот наконец нас произвели в чин умирающих.

Подумать только, что можно было бы не проживать всю прожитую жизнь!

По нетронутому листу бумаги стремительно бегала мелкая мошка. «К чему такая спешка? Куда ты бежишь, чего ищешь? Брось!» — закричал я в ночи. Как бы я был рад, если бы она сбавила темп! Найти себе учеников труднее, чем полагают.

Не иметь ничего общего со Вселенной и спрашивать себя, в силу какого такого искажения мы представляем собой ее часть.

«Отчего у вас все так отрывочно?» — упрекал меня этот молодой философ. «От лени, по легкомыслию, из отвращения, но есть еще и другие причины...»

Но поскольку никаких причин я не находил, то пустился в пространные объяснения, которые казались ему серьезными и в конечном счете убедили его.

Французский язык — идеальный диалект для того, чтобы тонко передавать неоднозначные чувства.

В неродном языке вы осознаете слова, они существуют не внутри, а вне вас. Это расстояние между вами и средством выражения объясняет, почему трудно и даже невозможно сочинять поэзию на ином языке, кроме родного. Как извлечь сущность слов, которые не укоренились внутри вас? Новоприбывший живет на поверхности слова, он не может передать на языке, который он выучил слишком поздно, ту скрытую агонию, из которой рождается поэзия.

Пожираемый ностальгией о рае, не познавший ни единого приступа истинной веры.

Бах в могиле. Итак, я увидел его, как и многие другие, из любопытства, привычного для гробокопателей и журналистов, и с тех пор я все время думаю о том, что в глазных отверстиях его черепа нет ничего оригинального кроме того, что они провозглашают небытие, которое он отрицал.

Покуда будет оставаться хоть один *действующий* бог, задача человечества не будет достигнута.

Царство неразрешимого простирается, насколько хватает глаз. Однако мы испытываем при этом смешанное чувство удовлетворения. Существует ли лучшее доказательство того, что мы изначально заражены надеждой?

В конце концов, я не потратил время зря, я тоже, как и все, суетился в этом нелепом мире.

Чоран, Эмиль Мишель

Признания и проклятия: Философская эссеистика / Пер. с фр. О. Акимовой. — СПб.: «Симпозиум», 2004. — 206 с.

ISBN 5-89091-284-4

В одной из последних своих книг (1987) великий французский мыслитель продолжает размышлять о жизни и смерти, сохраняя ясность логического построения и беспощадную четкость формулировок.

ЭМИЛЬ ЧОРАН
Признания и проклятия

Отв. редактор **Владимир Петров**
Редактор **Марина Сальман**
Художник **Андрей Бондаренко**
Технический редактор **Екатерина Каплунова**
Компьютерная верстка **Ирина Сомсикова**
Корректор **Елена Шнитникова**

Издательство «Симпозиум».
190000, Санкт-Петербург, ул. М. Морская, 18.
Тел. /факс +7 (812) 314-46-13, тел. 595-44-22
e-mail: symposium@online. ru

Подписано в печать 22. 09. 04. Формат 70x90/32.
Гарнитура Баскервиль. Печать офсетная. Усл. печ. л. 7, 6.
Тираж 4000 экз. Заказ № 856.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ФГУП «Печатный двор»
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.



Эмиль Чоран

ПОСЛЕ КОНЦА ИСТОРИИ

Эмиль Мишель Чоран (1911-1995) - одна из самых загадочных фигур в европейской философии XX века. Румын по рождению, француз по призванию, мыслитель по роду занятий и радикальный пессимист по убеждениям, он до сих пор вызывает ожесточенные споры вокруг своей личности. Творчество Э. Чорана впервые с достаточной полнотой представлено на русском языке.

В сборнике «После конца истории» представлены наиболее значительные произведения Чорана: трактаты «Злой демиург» и «Разлад», серия биографических зарисовок «Упражнения в славословии», а также избранные страницы «Записных книжек» философа.

Вышел в свет.